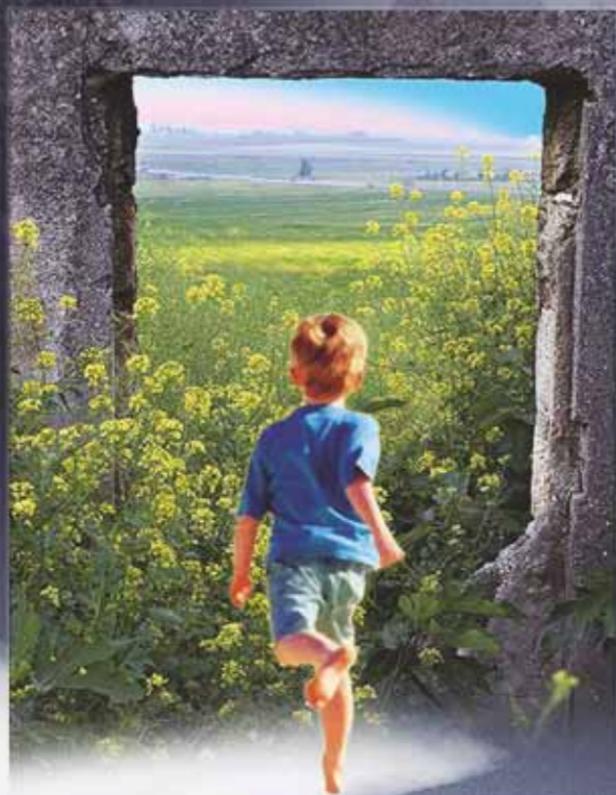


*Виталий Богомолов*

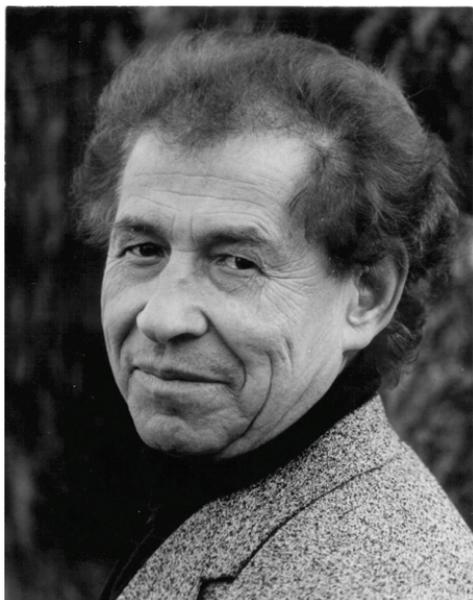


ВОН  
ПАРНИШКА  
БЕЖИТ БОСИКОМ...



*Когда сочувственно на наше слово  
Одна душа отозвалась –  
Не нужно нам возмездия иного,  
Довольно с нас, довольно с нас.*

**Ф. Тютчев**



*А.Г. Гребнев*

«Замечательно, что будет книга об Анатолии Гребневе. Мы его очень любим. Он прекрасный человек, надёжный, настоящий друг, лёгкий, с ним всегда хорошо, он поддержит и утешит, не оставит с бедой наедине, а радость усилит своей светлой энергией, гармошкой, стихами, песнями. Он и поэт прекрасный. Стихи его такие русские, такие наши. Они от родной земли, от неба родного, от наших родников и берёз, от народа нашего, от матушки поэта незабвенной, от отца, пахаря и воина, защитника Отечества. Помогите Господь найти доброго человека на это издание, а Вам и Толе дай сил пожить подольше во славу Божию, для добрых дел, для воспарения души, для любимой России.

С низким поклоном. Н. Л.»

*(Из письма Надежды Леонидовны Крупиной автору.)*

Виталий Богомолов

***Вон  
парнишка  
бежит босиком...***

Пермь  
2011

УДК 821.161.1  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8  
Б 74

Предлагаемая книга повествует о живущем в Перми талантливым русском поэте и враче – Анатолии Гребневe, о неразрывности его жизненного и творческого пути, о самородной и всесторонне одарённой натуре, о дружбе и взаимоотношениях и в мире пермской литературы, и с такими яркими личностями, как Владимир Крупин, Василий Белов, Валентин Распутин, Анатолий Передреев и другие.

Книга о непростой, в чём-то горькой, но интересной и содержательной биографии поколения поэта, родившегося в 1941 году и осиротевшего в Великую Отечественную войну. Это взгляд через призму литературы на тот вятский (российский) крестьянский мир XX века, в котором появился и сформировался поэт, а затем ярко воспел в своей поэзии и который трагически исчез на его глазах и памяти. Теперь это уже бесценная история в стихах.

Автор книги писатель Виталий Богомолов – близкий друг поэта. Издание адресовано всем, кто интересуется литературой.

- © В. А. Богомолов, 2011
- © И. М. Мингалёва, обложка, 2011
- © Пермская краевая общественная организация  
Союза писателей России, 2011

## Книга о поэте

Читаю исследование писателя Виталия Богомолова о жизненном пути Анатолия Гребнева и испытываю чувство вины: ведь это я должен был свершить такой труд. И по долгу 38-летней дружбы, и из необходимости сказать читателям о прекрасном русском поэте, да просто от того, что многие мои работы напрямую связаны с Гребневым. Его родное Чистополье, как место действия, у меня главное в повестях «Великорецкая купель» и «Во всю Ивановскую». А сколько на лету брошенных метких слов и выражений, слетевших с языка поэта, я подхватил и использовал, оправдывая себя тем, что это дружеское заимствование и сохранение богатств русской речи. А уж такого «словесного» богача, как Гребнев, я не видывал во всю жизнь.

Но дело сделано – книга о поэте написана. И написана, что важно, с уважением к русскому таланту, к вятской родине, вырастившей его, к той пермской писательской среде, в которой поэт живёт с начала семидесятых. Уверен, и это показано у Богомолова, что эта среда была бы иной без Гребнева. Своею яркостью, весёлостью, бескорытием он является душой организации. Конечно, и сюда членов Союза писателей не слуны забрасывали, они – люди живые, то есть и поинтриговать могут, и позавидовать, но ведь вот есть же человек, который плохо ни о ком не думает, рад за чужие успехи, сочувствует в горе.

Да, Анатолий Гребнев – личность редчайшая. Я не видывал поэтов, которые бы так, как он, постоянно, круглосуточно даже, жили бы внутри поэзии. Его знание классики и современников изумляет, его способность к блистательным экспромтам для нас восхитительна, для него естественна, как дыхание. Часто он даже говорит стихами. Где б он ни появлялся, сразу появляются и поклонники его таланта. Приехав в моё село Кильмезь, в дом моего детства, он осчастливил земляков стихами-шедеврами о роднике, о Крестном ходе на Крещение. Доселе мне напоминают одну его шутку. Мы поехали с ним как раз к этому роднику. А у родника я вспомнил, что поста-

вил чайник и не выключил. Ещё старого образца, сам не выключается. И перепугался. И шофёр тоже. Гонит по ухабам асфальта, мы переживаем. А Анатолий Григорьевич весело говорит: «Подъезжаем к уголькам, и ты сразу запевай: “Родительский дом, начало начал, вот здесь я когда-то свой чайник включал”. Слава Богу, на дне чайника ещё оставался тонкий слой воды...

Или ещё один экспромт, но уже на уровне стихотворения. Опять же в моей Кильмези. Великий пост. Толя был дома, я где-то задержался. Он – поэт, имеет право – взял винца, так, капельку, для воспарения. А под окнами мелькнул священник, и шёл он от своего мельканья до входа в дверь секунды три. Анатолий вскочил и встретил его таким приветствием:

Я в стихах и в грехах, как собака в репьях,  
Что мне делать, отец Александр?  
Как Кильмезь хороша, здесь шалает душа,  
Я расцвёл, как в саду палисандр!

Поэт был прощён. Только потом я ревниво говорил, что олеандр было бы точнее. Но Толя упрямо настаивал на палисандре: «Так сказалося». После ухода батюшки Толя понёс в коридор компромат, за секунду вернулся и сказал: «В Кильмезь приехал я здоров, я молод был, влюблён и пылок. Но за поленницею дров росла поленница бутылок». Конечно, никакой стеклянной поленницы в коридоре не было, но – куда денешься – поэзия требует преувеличений.

В литературе невозможно без учителей и авторитетов. Есть они и у Анатолия Гребнева. Это, сразу угадываемые: Тютчев, Фет, Заболоцкий, Есенин, Рубцов. Но плох был бы ученик, если бы только повторял пройденное, пусть и на высоком уровне. Поэт обязан сказать что-то только своё. И это что-то Гребнев сказал. Классический уровень его стихов о родине, о матери, о любви земной и Божественной таков, что они стали достоянием русской поэзии.

*Владимир Крупин, Москва*

## Часть I

### *Если пристальней в детство взглядеться*

*Если пристальней в детство взглядеться,  
Никого ни за что не вина, –  
Не припомню я всё-таки в детстве  
Ни единого чёрного дня...*

А. Гребнев

В народном юморе бытует издавна поговорка: «Вятские – ребята хватские!» Но если уж на то пошло, то для Пермского края употребление этой поговорки будет особенно обоснованным: много живёт в нашей стороне выходцев с Вятки; трудятся они в культуре, в медицине, да и во многих других сферах деятельности. Это, наверное, потому, что в Вятском крае нет такого количества ни учебных заведений, ни промышленных предприятий, как у нас, а значит, не имеется и возможности подобного широкого приложения сил. Хоть и жила про Вятку когда-то другая поговорка: «Вятка – всему богатству матка».

– Ну, а ты-то как сюда попал? – спрашиваю поэта Анатолия Гребнева, друга своего и по писательскому цеху, и по жизни.

Он по профессии и призванию как раз связан с упомянутыми культурой и медициной: Анатолий Гребнев известный в России поэт, а работает врачом-психиатром высшей категории. Любит повторять слова Антона Павловича Чехова: «Медицина для меня жена, а литература – любовница». Но если серьёзно, то это человек, который *работает психиатром, а живёт исключительно поэзией*.

Юмор, стоит заметить, для Гребнева – одна из существеннейших форм самозащиты. Тридцать лет работая с психически нездоровыми людьми, остаться нормальным самому, не стать циником, наверное, невозможно было бы

без чувства юмора. Ну, а какой Анатолий Григорьевич балагур, остроумный шутник и заводила – знают многие его друзья, коллеги, знакомые. В компании он всегда центр внимания, особенно когда в руках у него гармошка. Собственно, компания-то всегда на нём и держится, как хомут на гвозде.

Четвёртая областная психиатрическая больница (так она называлась до недавнего времени) расположена в деревне Байболовка, в полусотне с небольшим километров от краевого центра, в окружении природы, в живописном и благотворном местечке (что, думается, немаловажно для тех, чья жизнь протекает в несчастьи умственной неполноценности). В одном из своих стихов А. Гребнев пишет:

Сльвя в Байболовке поэтом,  
Я шлю друзьям большой привет.  
И акцентирую при этом,  
Что все в Байболовке «с приветом»,  
А всех приветней – сам поэт.  
Ведь не дурак сюда не едет,  
Судьбу-злодейку не кляня...  
И «крыша едет», «едет», «едет»  
У разнесчастливого меня.

Однако я отвлѣкся, извините. И вопрос о том, как Гребнев оказался в наших краях, остаётся ещё без ответа.

После окончания школы-десятилетки, конечно же, появилась проблема, куда пойти учиться, какую специальность-кормилицу приобретать. В Пермском медицинском институте (в Вятке такого не было) учились старший брат Гребнева – Леонид, Лёня, непререкаемый авторитет для брата младшего, любимый им, оказавший на него колоссальное влияние, и сестра Нина.

Вот сюда же и решил Анатолий Гребнев поступать. И поступил на стоматологический факультет. Но это было в восемнадцать лет, в 1959 году. А до того-то что? Откуда они берутся, эти поэты, как заводятся? В каких пластах

народной глины *накапливается*, куда просачивается и где начинает бить упругий и звонкий родник их поэзии?

Происхождением своим Анатолий обязан землепашескому роду Гребневых из села Чистополье Котельничского района Кировской области.

Вот и станция Котельнич!  
Проводник, с ума схожу!  
Что меня ты канителишь –  
Я в Котельнице схожу!

Село Чистополье было основано на Вятчине ещё в 18-м веке прапрадедами поэта. Исстари проживали в нём четыре фамилии: Гребневы, Разумовы, Кротовы и Шевнины.

В 1926 году двадцатипятилетний Григорий Александрович Гребнев (1901 года рождения) женился на восемнадцатилетней Анне Антоновне Гребневой (1908 года рождения). При регистрации брака фамилию Анне менять, как мы видим, необходимости не было, поскольку молодые супруги оказались однофамильцами.

За последующие 15 лет, можно без преувеличения сказать – счастливой жизни, у них родилось шестеро детей, двое из которых умерли во младенчестве, тогда это было явлением обычным. Последним в этой шестёрке свет Божий увидел мальчик, родился он, что по-былинному знаменательно – на огромной глинобитной русской печи, 21 марта<sup>1</sup> 1941 года, в день весеннего равноденствия, и был наречён Анатолием.

А ровно через три месяца на западных границах нашей страны взметнулся внезапный тротиловый шквал рвущихся немецких бомб и снарядов, он разметал мирную тишину, возвестил о страшной всенародной беде – грянула война, Великая Отечественная война, уничтожительная, опусто-

---

<sup>1</sup> Что удивительно и символично, теперь именно этот день отмечается как Всемирный день поэзии.



памятный снимок, не ведая, что обоим суждено погибнуть на недалёкой будущей войне.

Спустя тридцать лет после гибели отца, Анатолий поедет и отыщет под Ржевом (в 12 км), в деревне Полунино, братскую могилу, в которой вместе с его отцом уложено двенадцать тысяч (!) наших воинов, срезанных на полях сражений безумным, бешеным серпом войны. И до сих пор идут здесь подзахоронения обрётённых на местах бывших сражений останков наших воинов.

Припаду на коленях к подножью.  
Сколько лет  
ты прождал меня здесь!  
Вот с тобой мы и встретились всё же...  
Вот и встретились...  
Здравствуй, отец...

Так напишет Гребнев об этой встрече с отцом в поэме «Бессмертник». Бессмертник – это цветы, букетик которых он возложил на могилу отца.

Словно Вечный огонь,  
Польхает  
В подножье  
Бессмертник,  
Красным светом своим  
Он мне душу тревожит и жжёт.

В контексте поэмы это слово, бессмертник, приобретает иносказательный, философский смысл.

Но эта встреча произойдёт через тридцать лет. А пока мы вернёмся в тогдашнее время, время получения похоронки.

И вот потянулись годы – веками,  
Когда ты без мужа  
Осталась одна... («Голос матери»).

Или в другом месте:

Не забыла, не забуду  
этот год сорок второй –  
все придут,  
а мой останется  
в земелюшке сырой... («Бессмертник»).

Нам сейчас (порой, может, и нелегко живущим, но, к счастью, – не знающим всё же голода) трудно представить, что могла перенести, пережить и вытерпеть вдова с четвертой голодных ртов. Положение тридцатичетырёхлетней женщины было такое, что «лучше в петлю, чем жить...»

Тяжело невыносимо пришлось, когда Антон Ефимович, отец её, в 1943 году неожиданно умер в возрасте всего шестидесяти лет, он был с 1883 года рождения. Произошло это так: принёс он на плече стожар<sup>2</sup> не по силам тяжёлый (в той обстановке не приходилось считаться), и через три дня умер от прободной язвы. Видимо, от перитонита, как теперь предполагает Анатолий-врач.

Кто, к счастью, не изведал нищету и голод, тому это слово – *голод* – мало что говорит. Мне, признаться, видится в этом слове нечто символическое и при обратном его прочтении: *долг*, потому что силу голода тоже довелось испытать. **Голод** – *долг!* Ох, долг! Семье Гребневых довелось вволю горькую отведать суррогатных лепёшек с лебедой и куколем – толчёной клеверной соломой.

С фронта, незадолго до гибели, Григорий Александрович писал жене: «Нюра, продавай всё: костюм, отрезы, свинью... Только детей сохрани». А свинья эта, свиноматка, была особенная, она приносила по 18 поросят. И всё пришлось постепенно продать, чтоб выжить, чтоб прокормить детей. Продавала «за Пижму», то есть в селения за Пижму-реку, относила километров за 15, возвращалась с мукой.

---

<sup>2</sup> Ствол молодого дерева, втыкаемый в землю. Вместе с короткими (2–3 метра), закреплёнными под углом жёрдочками он образует каркас, вокруг которого укладывается в стог сено.

Картину голодных сороковых годов поэт осмыслил после в стихотворении «Горох».

Под опасливые вздохи  
Мчимся в поле чуть заря.  
В сумки школьные гороху  
Набираем втихаря.  
С клеверища лезем краем,  
По замезьям хоронясь.  
Караулят поле – знаем.  
Да поймай попробуй нас!  
Для обману – как ни ловок,  
Вдруг нарвёшься, попадёшь –  
Красных клеверных головок  
Вперемешку наладёшь.  
И до дому – впробегутки  
Да с оглядками, дрожа, –  
Ведь шутить не будут шутки  
С нашим братом сторожа.  
На деревне – голодуха.  
Жарит зной. Неидут дожди.  
Бригадир вздыхал Федюха:  
«Недороду нонче жди».  
И лепёшки в эту пору  
С чёрным куколом пекут.  
И гороховое поле  
Пуше глазу стерегут.  
Мне – шесть лет.  
Сестре – двенадцать.  
Нам бы из поля уйти.  
Нам до дому бы добраться,  
Наши сумки донести.  
И сестра меня торопит –  
Дома будет что поесть.  
Только слышим сзади – топот!  
Догоняют. Так и есть!  
Мне бы скрыться, провалиться  
Хоть сквозь землю от него,  
Словно в сказке, превратиться  
Мне в козлёночка того.  
До деревни – двои гоны,  
До дому – подать рукой.  
Только нас он всё ж догонит

И общет, гад такой!  
И теперь уж не до сказок.  
Я от ужаса реву.  
Вот с коня объездчик слазит...  
Всё из сумок – на траву!  
Так и вышло. Без гороха  
Мы в слезах домой бредём.  
Не во дни царя Гороха,  
А в году сорок седьмом.  
...Вдруг опять во сне затопит  
Детским ужасом меня.  
Убегаю.  
Сзади – топот,  
Топот страшного коня!

Довелось и лаптей немало сносить. Толик в первый класс пошёл в лаптях, и ходил в них в школу до третьего класса. Иногда завидки брали, когда кого-то из бедняков награждали (была такая форма материальной помощи) новыми лаптями, а свои уже поизлохматились. «Не вылезала из лаптей/ Послевоенная деревня...» Нынешнему поколению нужно уже объяснять даже, что такое лыковые лапти; мало кто теперь представляет эту обувь, искусно сплетённую деревенскими мастерами из узких полосок обработанной коры молодых липок (по преимуществу коры липовой, но в некоторых местностях бывали и берестяные; в Чистополье же берёстой проплетали только подошвы, и для износостойчивости, и для меньшей промокаемости).

Ох, как трудно жилось в войну. Дом большой, а дров ни полена, нечем печь протопить. Всей семьёй отправлялись в лес, там собирали и несли с бору по сухаринке – сушняк, кто сколько может.

Корова за долгие зимние месяцы всё приела, к концу зимы кормить её уже нечем. Мать с детьми идут в луга и там из одоньев увезённых колхозных стогов руками выдирают оставшиеся примёрзшие к земле и за осень подгнившие от неё клочки сена, мучительно везут на саночках за два километра...

В январские сорокаградусные холода замороженную баню не натопишь – только дрова понапрасну изводить, а потому мылись в огромной русской битой печи. На поду постлана солома. Хотя Толя клаустрофобией – боязнью замкнутого пространства – не страдал, а всё равно было страшно: со всех сторон камень... Пропотевшего, чистого, мать, помнит Толя, берёт его на руки, как свежий каравай из печи, вытирает домотканым полотенцем и укладывает уже на печку под шубное одеяло, спать...

Году в сорок шестом или сорок седьмом копали картошку, сносили в подполье. Толя помогал там рассыпать её на «берега» (у нас называют – завалины) – земляные возвышения по периметру стен, вокруг углубления в центре, из которого и берётся земля для возвышения. И вот в какой-то момент остался там один и из озорства швырнул картофелину куда попало... Ту картофелину вспомнил Толя, когда наступило лето, когда все припасы кончились и начался голод, пошёл её искать, всё подполье облазил, не нашёл. Мать давно уже всё подчистила. Питались лукояницей: лук, картошка, соль и вода.

В очень раннем возрасте, лет с восьми или даже с семи, Толя стал кормильцем семьи, добытчиком, хотя и был в ней самый младший. «Каким образом? – спросите вы удивлённо. – Это чем же такой мальчик мог кормить семью? Какой из него добытчик?» А рыбой, вот чем кормил он семью. Толик был невероятно удачливым рыболовом. И летом перед ним прямо такая обязанность стояла постоянная – снабжать рыбой семью. Задачу эту ему ставила мать, педагогически умно похваливая его именно как кормильца.

Ну и парень – весь  
в отца, –  
мамка удивляется. –  
Не бывал пустой ни разу, –  
тётке Тане хвалится («Бессмертник»).

И это подыгрывание детскому самолюбию оказывалось очень мощным стимулом, подпитывающим трудолюбие, прививающим незаметно привычку к нему. Такой простой педагогический приём был исстари неотъемлемым в крестьянских семьях, ведущих многовековую непрерывную трудовую борьбу за нелёгкое своё существование.

Анатолий Гребнев рассказывает, как после весеннего разлива реки, когда вода уходила в берега, в бакалдинах (в озерцах в низинках, которые летом высыхают) оставалось много рыбы, обычно щурят. Ребятня мутили бакалдины босыми ногами, поднимая ил, и когда рыба начинала задыхаться и буквально высовывала головы из воды, хватали щурят голыми руками. Затем насаживали добычу на прутья, жарили в костре и с наслаждением поедали.

Чистополье стояло на речке Каменке. Речка эта, в шутку сказать, – курице до пупа. Но водились в ней и омутки. И к праздникам, бывало, налавливали бреднем (набраживали) артельно бабы-соседки налимов да щурят. Делили на всех. Главная в ближней округе рыбная река, Пижма, протекала в трёх километрах от села, ширина её достигала здесь метров 20–30, в ней водились язь, щука, налим, окунь, лещ, сорога и разная другая рыба.

Но рыбалка основная проходила у Толика, да и других ребят, на Большом озере, которое находилось в двух километрах от села. Это озеро было старицей реки Пижмы, длина его составляла метров около трёхсот, а ширина около сотни метров. Дорога к озеру вела лесом, бором. И так-то страшно, а тут ещё ходили среди односельчан слухи о дедертирах, которые якобы прятались в лесу. Душа обмирает. Прихватив своё вересковое удилишко, мучительно преодолевая страх, Толик шёл, бежал, мчался во весь дух через этот лес к озеру, где на открытом пространстве было уже не так боязно.

И приносил рыбы столько, что хватало и на уху, и на жарёху. А был исключительный случай, когда за день он



Потом с этим магическим обрядом обходили хозяйство, и возле ульев пчелиных спрашивалось тоже трижды: «Ульи-то роятся ли?», в загоне для скота: «Скотина-то плодится ли?» И снова трижды следовал утвердительный ответ. А ещё вот что любопытно: с денежки серебряной надо было, тоже до солнышка, глазки умыть, чтобы не болели, чтобы хорошо видели. Такое невинное язычество, думается, привносило и разнообразие в нелёгкое крестьянское житьё и вселяло или подкрепляло надежду на благополучное ведение хозяйства.

Итак, рыбалка. А какие снасти-то были? Всё самодельное: и грузило, и поплавок, и леска (или, как говорили в том благословенном краю детства, – лёска). Её сплетали косичкой из конских хвостовых волосин, выбирая, которые подлиннее. Сам Толя в том возрасте мастерством плетения лески не владел, леску сплетал отчим, в три или в шесть волосин (это уже для крупной рыбы). Ох, и кропотливая, изнурительная и ювелирно тонкая была эта работа, требующая немалого терпения. Это уж потом, в середине пятидесятых годов, появилась у Толи Гребнева леска фабричного изготовления. Старший брат Леонид (напомню, он с 1931 года рождения) проходил службу в Группе советских войск в Германии (ГСВГ). Так вот он и прислал Толе впервые фабричную леску, «жилку».

На озере была ничейная, «колхозная» лодка. И тот, кто успевал эту лодку первым захватить и отплыть подальше от берега, тот без рыбы, конечно, никогда не оставался. Вместить небольшая лодка могла двух, от силы трёх ребят. Берег озера зарос хвощом, прибрежная вода была покрыта листьями водяных лилий, с берега ничего не поймаеть, а на глубине – окунь, сорога...

Однажды Толик случайно подслушал разговор мальчишек, что наутро они собираются на озеро в четыре часа. Это значило, что надо их опередить, чтоб занять лодку. Толя раздобыл у кого-то будильник (своего не было), завёл

его на три часа, положил под подушку, чтоб поближе к уху, и, предвкушая победу, улёгся в таком настроении спать.

Когда он проснулся, солнышко стояло уже высокохонько. Проспал, будильника не слышал. Это для мальчика оказалось таким поражением, что он заплакал от обиды. Когда поднял подушку – будильник задребезжал. Причина была простой: подушкой он прижал у будильника заводной ключ, лишил его возможности вращаться при сработке, и естественно, что звонка не последовало...

Анне Антоновне в те годы приходилось «вертеться», чтобы поднять детей на ноги. От коровы, которая поддела на рога и подняла над землёю двухлетнего Толика, пропоров ему горло, о чём расскажем в нужном месте, был оставлен на выкорм бычок. Со временем он вырос и превратился в чёрно-пёстрого могучего быка. Чтоб этот бычина был управляемый, в ноздри ему вставили кольцо. В трёхлетнем возрасте быка объездили, приучили ходить в упряжи. И стал он бесценным помощником семье. Дети его очень любили. Он был как член семьи. Лошади в колхозе – доходяги, едва на ногах держались, да и таких-то был недостаток, потому что всех хороших лошадей государство забирало на нужды армии. А быка Анна Антоновна холила, ухаживала за ним, кормила. Он так уважал хозяйку, что благодарно слушался и подчинялся ей даже без прикосновения к кольцу.

Бык возил дрова, сено (два конских воза легонько тянул), да любую поклажу, даже землю пахал. В 1945, в 1946 годах Анна Антоновна работала на нём даже по найму, за Пижмой, перевозила всевозможные грузы в сёлах Машкино, Опойки. В колхоз Анна Антоновна не хотела вступать, жили единоличным хозяйством, а потому права пользоваться природными угодьями не имели, даже за выгон (за пастбище) необходимо было платить оброк. Однажды за работу в соседнем колхозе с ней расплатились бочонком солидола (густая техническая смазка желеино-коричневого

цвета), там запас его был, видимо, ещё с довоенного времени. А дома, в своём колхозе, она обменивала этот дефицитный и бесценный смазочный продукт на овсяную солому для корма скоту. Солидол был необходим для смазки техники, тележных колёс, без смазки дефицитные в то время и ступицы, и оси изнашивались от трения очень скоро. Да и поговорка даже такая есть в народе: скрипит, как намазаная телега, или ещё: не помажешь – не поедешь.

Благодаря своей ухватистости и оборотистости в работе Анна Антоновна не давала развалиться своему хозяйству, семья жила лучше и крепче колхозников. Люди завидовали, роптали: единоличница. Сколько унижений и оскорблений, сколько пересудов пришлось ей вытерпеть и перенести – одному Богу известно. В 1946 году эти зависть и ропот обернулись тем, что быка – кормильца семьи, основу её благополучия, местная власть решила «обобществить». Анна Антоновна не подчинилась, с характером была женщина. Тогда её как единоличницу обложили двойным налогом. А это налогообложение и одинарное-то было кабальным, грабительским. Что же говорить о двойном, ставшем просто смертельной удавкой<sup>3</sup>.

Семь раз Анна Антоновна сходила пешком в Арбаж, в район, за 40 километров (а туда-обратно – 80!), отстаивая право своей семьи на жизнь. Лобастов (предрик) позвонит по телефону, а ей-то в райисполком надо пешком идти. Чего всё это измывательство стоило Анне Антоновне, можно только догадываться. Семь раз! Она, военная вдова, потерявшая мужа, одна воспитывающая детей – будущих защитников и работников Отечества! И стоит ли после всего этого удивляться, что российское крестьянство исчезло с лица земли?..

---

<sup>3</sup> Моего деда Харлампия Никифоровича, старика на седьмом десятке лет, загнали в колхоз в середине 1930-х годов таким же точно способом, и батрачил дед на колхоз буквально в нищете до последнего дня жизни: до 1 декабря 1950 года.

Деревенские мальчишки росли как дети природы. И при этом с самого раннего возраста участвовали в посильном коллективном труде. К примеру, на сенокосе Толя возил на волокуше копны сена, управлял лошадьёю, сидя на её горячей, потной от зноя спине – верхом, на вершней.

Сенокосная пора – это страшно напряжённая и физически тяжёлая работа, когда в короткий срок – до созревания хлебов – предстоит заготовить сено: скосить траву, высушить, сгрести сено, свозить в одно место, сметать (уложить) его качественно и надёжно в стога, каждый из которых надо завершить так, чтоб «не пробежало», то есть за которые не пришлось бы опасаться, что они промокнут и начнут преть, когда будут стоять под осенними долгими дождями. Причём запастись сено приходилось в самую знойную пору, обливаясь потом, изнемогая от жары, жажды, утолить которую в такой работе невозможно. Кроме того, обилие кровососущего гнуса – паутов, слепней, мух, для которых пот как мёд, – терзает и людей, и особенно истязает лошадей. И бьётся бедное беспокойное животное, пытаясь отогнать кровососов взмахами хвоста, мотаньем головы и движениями ног... Иногда не выдерживает и яростно несётся в кусты в надежде избавиться от гнуса, и малолетний возчик не в силах справиться с обезумевшим и неуправляемым животным...

Но помимо всех этих трудностей были всё же и минуты непередаваемой, а часто и не осознаваемой, *радости именно коллективного, общинного труда*<sup>4</sup>, который создаёт совершенно особую атмосферу праздничной сопричастности всех к единому делу, общему делу.

---

<sup>4</sup> Меня могут упрекнуть в противоречии: с одной стороны – порицание колхозов, а с другой – поэтизация коллективного, созидательного труда. Но я против превращения коллективного хозяйства в форму крепостничества и рабства, против лишения человека если не всех, то многих элементарных прав.

А купание в обеденную пору всей ребячьей гурьбой!? А сам обед из общего котла с последующим чаепитием душистого, вскипячённого на костре и заваренного ароматными травами чая! А короткое вечернее веселье молодёжи у костра возле шалашей, расслабляющее после напряжённого дня, подзаряжающее душу хорошим настроением и новыми силами. А гармошка! Её ладная игра так заводит, что ноги, забывая усталость, сами, как неведомой силой волшебной, выносят тебя на плясовой круг. А тайная радость первых поцелуев, урывистых ласк в стороне от людских взглядов... Сам поэт признаётся, что родился он как поэт, можно сказать, на лугах, сложился внутренне здесь...

*Я потому говорю обо всём так подробно, что всё это, всё окажется решающее, определяющее влияние на формирование и становление мировоззрения личности Гребнева; на его органичное слияние с народным мирозерцанием, станет впоследствии тем плодородно-духовным слоем, на котором произрастёт и разовьётся древо поэзии Анатолия Гребнева, его ярко выраженная индивидуальность, его эстетика, запечатлевающая атмосферу труда, картину жизни, рисунок чувств, психологию, красоту и духовное величие того **Крестьянского космоса** (прошу запомнить, при дальнейшем прочтении пригодится), который постепенно и не просто складывался многими веками и был безжалостно и безоглядно разрушен в короткий срок, уложившийся в памяти всего одного поколения.*

Крестьян выкосили, выхлестали, уничтожили. За людей их не считали, и рабский труд их не ценился. И расправились с ними не какие-нибудь захватчики-враги ненавистные, а собственное государство. По сути, традиционное крестьянство – основа продовольственной базы, силы и мощи государства – за годы советской власти оказалось истреблено и стёрто с лица русской земли<sup>5</sup>. Не считать же

---

<sup>5</sup> Любопытная деталь в сказке П.П. Ершова «Конёк-горбунок»: *Братья сеяли пшеницу! Да возили в град-столицу! Знать, столи-*

крестьянством нынешних старух с «малыми сапёрными лопатками» на приусадебных участках. 19 октября 2008 года в дискуссионной телепередаче «Имя Россия», о роли Сталина в нашей истории, поэт Юрий Кублановский привёл такие ошеломляющие цифры: за три года (видимо, коллективизации?) российских *крестьян* было уничтожено в полтора раза больше, чем евреев во время холокоста. Какие ещё нужны свидетельства?!

И Анатолий Гребнев в ряду поколения поэтов нашего времени – единственный поэт, кто глазами человека, знающего этот мир изнутри, сумел *всеохватно* запечатлеть в своих стихах и Величие и трагическую гибель этого Крестьянского космоса. Глазами и чувствами человека, разделяющего сердцем и душой судьбу этого мира, его обречённость, трагедию искоренения памяти о нём. Это была система бытования, существования жизни в специфических условиях. Система разрушена и восстановлению не подлежит ввиду исчезновения носителей знания этой системы. Это и только это побудило меня отложить все свои ближайшие – важные для меня – замыслы и взяться за написание посильного для моего скромного дара очерка жизни, за оценку творчества такого удивительного поэта.

Свободно, непринуждённо и легко льётся слово в его стихах. Какое богатство лексики, какое разнообразие словаря поэтического, чувств, ощущений, переживаний!.. Всё это придаёт им неповторимость и совершенно особую энергию и динамичность.

Но пока что мы вернёмся в конец сороковых – начало пятидесятых годов.

---

*ца та была/ Недалече от села.* Не село, по логике, недалече от столицы, а наоборот, дана «обратная перспектива». Так высказался гений народа не по прихоти своей, а, думается, выразил народное понимание села – кормильца столицы.

В то время хотя и было невероятно трудно с керосином, однако семья Гребневых по вечерам очень много читала. Поначалу в хозяйстве имелась только коптилка, потом обзавелись семилинейной лампой со стеклянным пузырьём, а после и десятилинейной, такой же конструкции. Эта лампа давала света уже заметно щедрее: фитиль у неё был пошире, диаметр стекла побольше. Конечно, ощутимее был и расход керосина.

Глядя на своих старших брата и особенно сестёр, Толик рано пристрастился к чтению книг, и читал с упоением, очень много, но бессистемно (как стало ему понятно впоследствии). Пытался тянуться за старшими сёстрами, за взрослыми. Во втором или третьем классе прочёл поэму Лермонтова «Боярин Орша», которая произвела сильное впечатление, особенно, разумеется, описание скелета истлевшей на *ложе любви* дочери боярина Орши: «Громаду белую костей/ И жёлтый череп без очей/ С улыбкой вечной и немой –/ Вот что узрел он пред собой.../ Где сердце чистое такой/ Любовью билось огневой,/ Давно без пищи уж бродил/ Кровавый червь – жилец могил!»

Жутковатая картинка для десятилетнего мальчика.

В третьем классе наслушался разговоров от брата Лёни и сестры Нины: «Анна Каренина», «Анна Каренина»... Ну, отправился в библиотеку, взял эту книгу, дали. Принялся читать. И бросил, недоумевая, что они тут интересного-то нашли? В шестом классе замахнулся на «Тихий Дон». Конечно, не осилил, но тянулся, потуги были.

Однажды произошёл даже такой комичный случай. Библиотекарша сельская оказалась не очень образованной, а Толик пришёл и попросил у неё книгу «Собор Парижской Богородицы». Библиотекарша была искренне возмущена таким «ругательством» мальчика. В устах сельских жителей, чьи души были до глубины выхолощены пропагандой примитивного, ломового атеизма, слово Богородицы неред-

ко употреблялось в метерщинном контексте. Господи, прости всех Твоих рабов, не ведали бо, что творили!

Учился Толя Гребнев охотно и легко, и в начальных классах вполне прилежно. Особенно хорошо шли у него гуманитарные предметы.

После четвёртого класса, это, выходит, в 1952 году, мать хотела отдать Толю в Суворовское училище, ради устройства его судьбы. Отборочную медкомиссию проходили в Кирове. Толя комиссию не прошёл по зрению. Но, возможно, причина крылась в другом: принимали в Суворовское только детей, чьи отцы погибли на войне, будучи в офицерском звании, а у Анатолия отец был рядовым, связным командира батальона. Но скорее всего – это как раз и была судьба, что не приняли.

\* \* \*

Если говорить про домашнее хозяйство Гребневых, то за годы войны и после войны без мужского догляда оно пришло в упадок.

В соседнем селе проживал Максим Григорьевич Кислицын, жена у него гуляла, изменяла ему, не дождалась его с войны; когда он вернулся домой, она уже вышла замуж за другого фронтовика, пришедшего с войны раньше Максима Григорьевича. В 1948 году Максим Григорьевич перешёл в семью Гребневых, женился на Анне Антоновне, «пришёл в дом» и на четвёрку детей. Дети его, правда, приняли хорошо. Максим Григорьевич был 1905 года рождения, один из лучших мужиков в округе, мастер на все руки: плотник, рыбак, бывший охотник... И вот стал он поднимать рухнувшее хозяйство. А ограда была – на лошади с возом разворачивались, огромная. А дом какой был, на восемь окошек (четыре – на дорогу, четыре – в проулок), как говорится, – богарадина, то есть большой. Когда-то в нём размещался даже магазин.

В первую очередь надо было перекрывать крыши. Так что работы в хозяйстве Максиму Григорьевичу хватало...

Однажды произошёл такой случай. В семье Гребневых имелся патефон, и дети нередко крутили пластинки. В этот раз сидела ребятня кружком, слушали песню «Огонёк» на стихи Михаила Исаковского:

На позиции девушка  
Провожала бойца.  
Тёмной ночью простилася  
На ступеньках крыльца...

А дальше в этой песне о *девичьей верности бойцу* есть такие слова:

И подруга далёкая  
Парню весточку шлёт,  
Что любовь её девичья  
Никогда не умрёт...

Вдруг входит отчим. Едва он услышал песню, как выражение лица его переменялось, стало свирепым, он взял пластинку и на глазах у детей с размаху ударил её об пол, и чёрный диск из хрупкой пластмассы разлетелся вдребезги на множество мелких чёрных осколков-треугольничков... Должно быть, Максим Григорьевич в тот момент оказался подвыпившим.

В 1950 году у сорокадвухлетней Анны Антоновны родилась дочь Ираида. Забегая вперёд, скажу, что судьба Ираиды сложилась трагически и в двадцать девять лет она умерла, оставив сиротой сына...

У Максима Григорьевича имелась бельгийская двустволка двенадцатого калибра, до удивления лёгкая, изящная, с изображением охотничьих сцен на ствольной коробке. Толик знал, что у отца тоже было ружье такого же калибра, но одноствольное; да в голодные годы бескормица, бесхлебица вынудили Анну Антоновну обменять это ружьё на пуд муки, чтобы детей прокормить.

Лет десять или двенадцать исполнилось Толе, когда он решил пострелять из ружья отчима, выждав момент, в который дома никого не оказалось. Не раз наблюдая, как это делает отчим – снарядил патрон, но пороха наивный отрок не пожалел. На стене бани повесил мишень – круг, сам отошёл метров за тридцать, встал к стене сарая, прицелился и нажал на спусковой крючок...

Когда пришёл в себя, то увидел, что лежит на земле, ружьё валяется рядом. От переизбытка пороха в заряженном патроне – при выстреле получилась столь резкая отдача в плечо, что Толю ударило сильно затылком о стену, и он потерял сознание. Но самое ужасное, что этим выстрелом он испортил ружьё: ствол раздуло, после патрон едва выколотили. Ох, и поругался тогда Максим Григорьевич, ох и поматерился. Оно и понятно, испортить такое ружьё. Спустя какое-то время он отвёз его в Тужу, где жил добрый ружейный мастер, и тот ружьё каким-то способом отремонтировал. Да, нелегко добывается жизненный опыт в мальчишеском возрасте...

– Не бил тебя отчим за это ружьё? – поинтересовался я.

– Нет, – ответил Анатолий и добавил с характерной интонацией категоричности: – Не бил ни-ког-да!

Но ведь деревня есть деревня. Люди настраивали Толю против отчима: вот отец был бы жив родной так... а тут уж... Кроме того, надо полагать, гнездилась в сердце паренька и ревность к погибшему на войне отцу. И подростком Толя схватился с отчимом, хотя силы были не равны... Мать тогда в обиду сына не дала. Второй раз такая схватка произошла в юности...

В 1987 году Анатолий напишет покаянное стихотворенье «Отчим», в котором будут и такие строки:

Годы шли.  
В незабвенном краю,  
На пороге родимого дома  
Мать-старуху ты обнял свою.  
И увиделось всё по-иному:

Озарилась, горька и темна,  
Боль былая догадкою новой:  
Тут никто и ни в чём не виновен,  
Тут во всём виновата  
Война.

Школу-семилетку (в то время обязательным образованием считалось уже семиклассное) Анатолий окончил в родном Чистополе, а вот в среднюю школу, начиная с восьмого класса, довелось ходить аж за пятнадцать километров, в село Верхотулье. Рядом была деревня с ещё более забавным и поэтическим названием – Сухие Прудки. Уходил на целую неделю. Мать давала с собой «тетерьки» – небольшие караваи хлеба. Зимой – молоко в кругах. Изготавливались эти круги таким способом: молоко наливали в миску и выносили на мороз, когда оно замерзло, миску слегка подогревали, молочный круг отставал, его легко извлекали, и снова выносили на мороз. В Верхотулье жил Толик на квартире. У матери был какой-то особый договор с хозяйкой об условиях квартирования сына; даже за стол хозяева сажали квартиранта всегда вместе с собой.

Очень запомнились Толе блины, которыми потчевала его добрая хозяйка: небольшого размера, пышные и сверху посыпаны луком, мелко-мелко нашинкованным. Пекли их «перед печью», то есть когда дрова в задней части печи уже догорают, в это время и ставят с помощью сковородника сковороду на угли перед главным жаром. Блин на углях печётся быстро, мгновенно подрумянивается, а лук при этом успевает зажариться от верхнего жара, придавая блину неповторимый вкус.

В сентябре школьников посылали на уборку колхозной картошки. Вспоминается Гребневу такой казус. В их стороне много живёт марийцев, прозванных в народе черемисами, ведь до Марийской республики там было рукой подать. Группа ребят, в которую Толя входил, пока ученики работали на картошке, квартировала у марийки. Однажды



Уток кряканье.  
Клик лебедей.  
Может, самые лучшие миги,  
Миги лучшие  
жизни моей!..

В ту весну он подхватил полиартрит. По дороге из Верхотулья домой на одном участке ребята разувались и метров триста легкомысленно проходили по снежной воде, которая в некоторых местах доставала до пупа. Обходить это место около трёх километров стороной им очень уж не хотелось. После этих ледяных ванн вот и распух в мае у Толи сустав правого колена. Лечение было народным: и мать, и хозяйка, у которой Толя квартировал, заваривали в корыте только что появившиеся листья хрена и прогревали сустав.

\* \* \*

Старший брат Леонид остался в Германии на сверхсрочную службу (сержант, радист), и как мог, помогал матери, даже не курил, одевал сестёр-невест, студенток, Нину 1934 года рождения, и Лиду, 1939 года рождения. На сверхсрочную Леонид остался потому, что там была возможность посещать вечернюю школу и получить среднее образование.

Когда Леонид в 1956 году демобилизовался, вместо трёх тогда положенных – прослужив шесть с половиной лет, то в восьмой класс Анатолий ходил в школу уже в кителе брательника и в его яловых (солдатам, служившим за границей, давали такие, а Леонид тем более был сверхсрочником) натурально кованых солдатских сапогах. Когда Толик выходил в них на школьное футбольное поле – игра в футбол была у ребят самым популярным и любимым увлечением, – его все боялись: «подкуёт». А ребята своей команды азартно кричали ему с утрашением для соперника: «Бей по дверям!» – по воротам, значит.

Мать в послевоенные годы работала около трёх лет в лесничестве (на лесопосадках, на сборе живицы), затем примерно такой же срок в школе техничкой, после этого лет девять в детдоме, до самого его закрытия, занималась пчеловодством, ухаживала за тремя десятками пчелиных ульев, а детдомовцы ей в этом помогали. Здесь же она работала ещё и сторожем. Дети Гребневых очень дружили с детдомовцами, которые частыми гостями бывали в доме Гребневых.

На всю жизнь врезалось в память то, что детдомовских детей одевали очень хорошо, и этим они разительно отличались от крестьянских детей.

А мы завидовали вам,  
В село глухое привезённым, –  
Казённым вашим башмакам,  
Суконным курточкам казённым.

Поскольку – тут не до затей, –  
Форся своей обувкой древней,  
Не вылезала из лаптей  
Послевоенная деревня... («Друзьям-детдомовцам»).

У Анны Антоновны всё образование укладывалось в четыре класса церковноприходской школы. Но детей своих она, не жалея сил, по словам самого Анатолия – *выталкивала* учиться. Последние крохи собирала, чтоб только детей выучить, вытащить. Ради детей мать ни с чем не считалась. Доставалось ей, когда двое старших, Лёня и Нина, одновременно учились в мединституте, а Лида в медицинском училище.

Когда старшие были уже «на отлёте», студент Толя оставался главным помощником матери. Отчима к той поре уже не было в живых. А работы на сельском подворье, если вы не знаете, – круглый год невпроворот. Из домашнего скота держали корову (молоко, телёнок), овец (носки, валенки, мясо), и на зиму предстояло заготовить немало сена.

А поскольку мать, как было сказано прежде, не считалась колхозницей (как говорится, жили по-за колхозу), то косить приходилось в соседнем Арбажском районе, в совхозе Боровском, на условиях «исполу», то есть половину заготовленного сена требовалось отдать совхозу; и чтобы обеспечить своё хозяйство, необходимо было поставить двадцать стогов. А покос был отведён, вот уж воистину у чёрта на куличках, аж в пятнадцати километрах, на реке Боковой, да и эту неудобницу давали по жребии. Кочки, а между ними вода холодная. Сапоги резиновые были уже, но все в заплатках, воду пропускали, ноги мокрые. Сено на возвышенное место выносили на носилках: две палки, концы на плечах...

Эпизод этого нелёгкого сенокоса поэт колоритно запечатлел в стихотворении «Ночлег» (см. в конце книги избранные стихотворения).

Ох, и тяжело этот покос доставался семье Гребневых, потерявшей отца-кормильца на войне, в боях за родное Отечество, которое не очень-то жаловало своих детей-граждан заботой и бережным отношением. Матери, как уже отмечалось, приходилось крутиться, и она умела крутиться, а колхозники завидовали ей. Много позже поэт скажет о матери в её уже почтенном возрасте её же словами:

Хоть и ранешней успеши нету,  
а домок-от покуда веду...

В 1962 году, когда уже хрущёвская удавка на шее крестьянства затягивалась всё сильнее и сильнее, на Анну Антоновну в районной газете навели критику за то, что она завела в своём *личном* хозяйстве вместо двух разрешённых положением поросят – третьего. А ведь мясо от выращенных свиней шло на прокорм детям-студентам. Не разрешалось в личном хозяйстве содержать и более десяти пчёлосемей. И огород у Гребневых-неколхозников был вдвое меньше – пятнадцать соток, вместо тридцати, как у всех остальных.

Невозможно не сделать здесь невольное отступление: горько, до боли в сердце горько думать о том, что сегодня даже самые лучшие колхозные уголья заброшены: коси бесплатно, кому сколько надо, но никому они уже не нужны... Ни людей, ни коров, ни лошадей. Всё рухнуло, что обустроивалось веками! Ради чего страдали и мучились наши матери? Как сказал Анатолий: «Всякий кустик, кочка, сантиметр земли, они слезами умыты и кровью». Ради чего? Иногда я думаю об этом, перебирая в памяти судьбы своих деревенских родных, близких мне или просто хорошо знакомых людей, положивших свои судьбы, жизни свои на алтарь колхозного отечества. Ради чего? И опять же – нет мне ответа на земле. Ибо всё обернулось бессмыслицей.

\* \* \*

На Новый год в детском доме Чистополя всегда устанавливали и наряжали новогоднюю ёлку. И эта красавица ёлка воспринималась Толиком в детстве как чудо-чудное, как диво-дивное, как сказка. В те годы трудилась в детдоме музыкальным работником Маргарита Николаевна, которая играла для детей на баяне, аккордеоне и фортепиано.

На Ивановскую (Иванов день – 7 июля<sup>6</sup>) в Чистополе всегда проходила ярмарка, люди съезжались с трёх районов – Тужинского, Арбажского, Котельничского. Это ярмарочное празднование с богатыми традициями, можно сказать без преувеличения, было освящено уже веками, как минимум – двумя. Готовились к нему основательно: на открытом пространстве возводились тесовые палатки-временки, в которых шла торговля самыми разными товарами: промышленными изделиями, мануфактурой, продовольствием. Гуляние шло, как говорится, – до небес.

---

<sup>6</sup> Рождество Пророка Иоанна – Предтечи и Крестителя Иисуса Христа.

Драки на ярмарке тоже были традиционными с незапамятных времён. В другое время дрались и деревня на деревню, и сельсовет на сельсовет. Из-за чего враждовали? За право первенства, за сферу влияния: наша территория, наша здесь власть; за самоутверждение, а особенно за девчонок... Ведь девчонки других сёл и деревень, как заметил Владимир Солоухин в рассказе «Двадцать пять на двадцать пять», всегда красивее и желаннее своих. Так, родная бабка Толи Гребнева по отцу была из села Григорьева, а в юности Толи чистопольцы часто дрались с григорьевцами... Случалось, что в этих жестоких драках дело доходило до увечий и даже до смертоубийств.

Но самая сильная вражда была, конечно, между районами. И когда районы съезжались на ярмарочное гуляние, то внутренняя вражда между деревнями и сельсоветами отодвигалась на задний план, объединялись все свои. Тут уж без ярких драк не обходилось никогда: «Наших бьют!»

Обиды были тоже историческими, никогда не забывались, всегда тлели внутри и пестовались. Тужинцев, к примеру, чистопольцы дразнили так, нажимая твёрдо на «ж»: «Тужинский мужжик, держжи вожжи, машшина бежжит». Почему? А через Тужу был проложен тракт. До того, по поговорке, они там тележного скрипа боялись. А тут – машины. Или жила среди чистопольцев такая вот ёрническая поговорка: «Сколько запижамцев встретишь – столько и убей!» Запижамцы – это те, кто жил за рекой Пижмой. Конечно, подгулявшие парни и мужики задирали друг друга, и ссоры вспыхивали легко и мгновенно. А потому милиции на ярмарочных гуляниях дежурило до десятка человек. По тем временам это, считалось, очень много.

А детям ярмарка опять же врзалась в память тем, что продавали на ярмарке чудесное и недорогое лакомство – напиток морс, торговать которым просили Анну Антоновну

Гребневу. Стакан этой сладкой воды стоил в те достопамятные дни три копейки, кружка – пять.

Гармошки весь день играли вперегонки десятками. Гармонист всегда бывал в центре праздника, любой гулянки, особенно – хороший гармонист. Без гармонии в те годы не обходилось ни одно событие. Как Гребнев говорит, гармонист – это была фигура не ниже председателя. Конечно, мальчик-подросток уже это понимал. И потом, музыка – это же чудо: пальцы бегают по клавиатуре и человек, не глядя, извлекает такие ладные в стройном сочетании звуки, от которых душа окрыляется, настроение у людей поднимается. В селе Чистополье играл, как говорится, каждый второй. И у каждого гармониста был свой почерк, свой рисунок игры. Но выделялись в общем ряду, разумеется, только игроки-виртуозы.

На сто вёрст,  
Лады, звените!  
Отзывайся

басу бас.

Делал мастер знаменитый  
Ту гармошку на заказ.

Эх, гармонь, – душа гулянки,  
Самородная краса, –  
Басовиты медны планки,  
С приговором голоса!

А как всякая одарённая и талантливая личность, Толик был наделён определённой долей тщеславия – у него развилась страстная мечта научиться играть на гармошке. Да к тому же ещё родня по отцовской линии – четыре двоюродных брата – все играли на гармошках. Было честолюбие от кого подпитываться...

И скоро Толик свою мечту превратил в реальность. После восьмого и девятого класса он два лета пастушил в колхозе «Правда», то есть работал пастухом, пас стадо свиней. А за лето в качестве оплаты за нелёгкий труд – ведь летний

знойный день как год – давали двух поросят, воз яровой соломы (овсяной или пшеничной, то есть от культур, посеянных весной) и 1200 рублей деньгами (дореформенными, естественно; для сравнения: бутылка водки – универсальный эквивалент – до денежной реформы 1961 года стоила 25 рублей 20 копеек). Так за два сезона он заработал, скопил денег себе на гармошку. Но прежде, не удержался, купил часы «Москва», 16 камней, светящийся циферблат.

Сейчас опять же представить трудно, каким предметом престижа для юноши в ту пору являлось это приобретение, часы тогда даже в городе были ещё почти редкостью. Колхоз «Правда», стоит заметить, считался богатым, специализировался на разведении льна, культуры очень прибыльной, и в 1956 году стал даже колхозом-миллионером.

Гармонь была выписана в 1958 году за 650 рублей через посылторг (заказ оформлялся на почте по специальному каталогу и только на те товары, которые были указаны в перечне). В августе, примерно в середине, он получил «шуйскую» гармонь и без промедления приступил к овладению желанным инструментом. Учёба проходила в традиционном для начинающих деревенских гармонистов училище – в бане. Почему в бане? Да потому что обучение игре – дело надоедливое для посторонних ушей, и чтобы не изводить домашних своим пиликаньем, укрываются в бане. Здесь никто никому не мешает: ни ты, ни тебе. Не услышишь обидных, подковыристых слов: «Ты бы умер, я отпел, ты бы больше не скрипел!» До обзаведения собственной гармонью Анатолий простейшую игру немножко уже освоил. Главное – умел «сводить» правую и левую клавиатуры; то есть работать пальцами обеих рук одновременно – уже получалось. А это момент очень важный в овладении инструментом.

Учился на слух. А подобное обучение требует помимо природного дара – ещё невероятной настойчивости и упорства. Анатолий до сих пор, беря в руки гармонь, называет

себя «слушачом». А уже в Богородскую (праздник Рождества Богородицы, который отмечается 21 сентября), по словам Анатолия, – он играл для *больших ребят*. Они при этом пели частушки «с картинками». За что вскоре гармонист был вызван к директору школы на серьёзную воспитательную беседу...

Сегодня Анатолий признаётся, что делал себя сам. Но впечатления детства питают душу до сих пор. А сколько на этих праздниках звучало частушек, этих уникальных четырёхстрочных художественных творений, каждое из которых целостное и законченное произведение. Частушка выразит состояние души человека в любом его возрасте, настроении, положении:

Я на синеньком платочке  
Все каёмки выпорю...  
Я в глаза пенять не стану,  
Всё в частушках выпою.

Или:

На дубу сидит ворона –  
Веточки качаются.  
Полюбите кто-нибудь –  
Молодость кончается.

Среди частушек было множество народнопоэтических шедевров. Женщины на гулянках пели по сотне и более частушек, и причём не в какой попало последовательности, а бывали эти жемчужинки нанизаны по-особому и выстроены со смыслом. «Я стихи сочинять учился у частушки», – признаётся Гребнев.

Я запомнил ещё в луговом перезвоне  
Закипающий гул молодежных ватаг.  
Там частушки вились, там шибались гармонии  
В забубенном веселье гулянок и драк...

А ведь ещё были игрища, где пели песни. И в праздничные застолья тоже пели песни.

У Анны Петровны, двоюродной сестры матери Анатолия, говорит он, «точно было колоратурное сопрано, но не обработанное»; она вела, пели втроём. И как пели! А какие песни!

Надо было записывать, но тогда «ума не хватало», а сейчас Анатолий жалеет об этом, потому что всё ушло.

Как сказал Василий Шукшин в очерке «Вот моя деревня...» об этом же самом: «Когда-то они хорошо пели. Теперь не могут. Просил – не могут».

Да. А теперь вот и не попросишь. Некого просить. Всё ушло в небытие. Я думаю, что в той жизни нелёгкой и беспросветной народ песней укреплялся, набирался сил, чтоб выжить, вынести каторжное бремя... Изумительно точно подметил поэт 19 века Е. Боратынский: «Болящий дух врачует песнопенье...»

Кто знаком с творчеством Анатолия Гребнева, тот отметит, сколь тонко развито у него чутьё слова, это ему дар свыше, дар Божий!

Но вот такой эпизод из его школьной жизни: идёт подросток Толя на охоту, на косачей, однако с лайкой (среди охотников – смех!)... Идёт и вдруг слышит придушенный, но грозный возглас: «Гребнев, стой!»

Оказывается, директор школы, Павел Илларионович Кротов (по прозвищу, данному учениками, – Пауль Лэбэн), преподаватель русского языка и литературы, разведал косачиное токовище, сделал шалашик и лежал в нём в засаде, поджидая прилёта косачей, которые слетаются на брачные игры токовать всегда на одно и то же облюбванное ими место... Испортил Гребнев ему охоту.

В отместку (ну, все мы не без греха и не без слабостей) директор устроил Гребневу диктант перед классом, на доске... Уж погонял он своего ученика. Весь урок! Класс – 48

человек!<sup>7</sup> – за этим захватывающим «матчем» азартно следил, затаив дыхание. Но Толя не сделал ни одной ошибки. А надо заметить, правил он особо не учил, но интуиция у него на слово была поразительная. Директор оказался посрамлённым, а класс в переменку с гордостью качал Толика на руках.

«К рифмачеству», как признаётся сам поэт, его стихийно тянуло постоянно уже с пятого класса. Однако сознательно писать стихи начал в восьмом классе, когда брат Леонид привёз из Германии стихи Сергея Есенина, переписанные от руки. Идут по дороге лугами, бором, а брат Лёня читает стихи Есенина. Он их множество знал наизусть. Эти стихи потрясли Толю. Природа вокруг Чистополя – чудо, приволье неоглядное, в поле рожь волнами ходит, синим полем лён цветёт. И он подумал, а почему бы и ему не написать *такие* стихи о природе.

Заливные луга в Чистополье, вдоль реки Пижмы, раскинулись на пять километров шириной, трава, трава выростала – в пояс и выше. На сенокос, который начинался всегда с 20 июня, выходили одновременно тоже три района, как и на ярмарку.

Покос. Как сказал опять же Василий Шукшин, «самая прекрасная, самая трудная, самая певучая пора». А вот картина, набросанная поэтом Гребневым:

Отлажены все косы и косилки.  
Село с зарёй сегодня на ногах.  
Смеются  
    баб цветастые косынки,  
народу – что на ярмарке в лугах...

И концовка:

...Косить-косить

---

<sup>7</sup> Сегодня в сельских школах можно нередко насчитать в классе всего 6–8 учеников.

и от восторга ахать,  
косить-косить  
в разымчивости сил –  
чтобы дымилась жаркая рубаха,  
чтоб видно было –  
это ты  
косил!

Стога в лугах стояли сплошняком, словно богатырские шлемы древнерусского войска, вышедшего на битву с врагом...

Жили в это время в шалашах, которые – каждая семья для себя, но в том же порядке, как стояли дома в улице, – строили оригинальным способом. Рубили ивняк, стволики в два рядка втыкали в землю – это боковые стенки, переднюю делали овальной, а вершинки стволиков сводили и связывали, получался свод. Шалаш выходил очень экономный, в длину метра два с небольшим, чтоб можно было спать, вытянувшись во весь рост. А вот ширина его зависела от числа проживающих, чтоб все могли свободно улечься, трое-четверо. Сверху шалаш покрывали пологом так, чтоб он полностью затягивал вход, настилали берёсту (на случай дождей, чтоб не промокало) и умётывали сеном, чтоб тепло было спать, ведь ночи в лугах туманные, сырые. Когда появился толь, покрывали вместо берёсты толем (сей кровельный материал в обычае деревни называть в женском роде: толь – она). Устанавливали шалаши на подходящем для этого месте на берегу реки или озера.

Женщин всегда увозили вечером на подводах домой, управляться по хозяйству, а мужики и молодёжь оставались на ночлег в шалашах. Так было удобно: утром поднялся – вся работа под боком. Косили мужики по утренней росе, часов с шести. Бабы, управившись дома по хозяйству, возле печей, приезжали на покос к той поре, когда роса уже обсыхала, начинали ворошить сено, сгребать в валки...

С утра – косьба, с обеда – мётка стогов. Народу было – тьма, несколько поколений одновременно: старики, мужи-

ки-фронтовики, парни, мальчишки, женщины, девчата. Варили котёл супа, котёл каши, кипятили котёл чая.

Вечерами – костёр, гулянки, гармошки, знакомства... Перед сном выгоняли из шалашей набившихся туда комаров: отбрасывали полог, вносили в шалаш и ставили на несколько минут ведро с дымящейся головешкой... Комары в панике наперегонки покидали облюбованный шалаш.

Так формировался здесь, в лугах, в артельном труде, будущий поэт, напитываясь яркими впечатлениями, которые впоследствии составят основу многих его произведений. Здесь приобщалась его душа и к незабываемой красоте родной природы: выберешься утром из шалаша – туман, восход, набрякшие капли росы на травинках играют самоцветно-радужно в лучах подымающегося солнышка, как ни странно – словно драгоценные камни в восточной сказке...

А какая череда названий разных мест на реке: Гришкина кулига, Колькина кулига, Пронина кулига, Маленькая ямка, Хомут, Липовая борка, Тихонихин криуль (или – Тихониха), Утопша (здесь утонули двое), Бродовое (от бродить с бреднем), Мелочь (перекаты, мелко), Кладовица, Гумёшко (тоже мелкое место): Маленькое гумёшко, Большое гумёшко.

А рыбная Пижма, несмотря на равнинность здешней местности, – река быстрая, стремительная, сильная...

\* \* \*

В то время вокруг Чистополя раскинулись тридцать три деревни, было два сельсовета, которые административно объединяли эти деревни.

«У нас раньше 33 деревни было, – вспоминает Анатолий Григорьевич в интервью, которое он дал известному поэту и публицисту Юрию Беликову. – Я их все помню наизусть: Артёнки, Аверёнки, Лаптёнки, Жаворонки, Сизёнки, Гвоздки, Ерши, Изиповка, Волки, Долгое Раменье,



Поэзия Гребнева насквозь пропитана любовью к родине, к её основам, уважением к истории, какую Бог послал, к человеку, к людям, которые, жертвуя всем, прожили жизнь ради страны, а нередко и потеряли эти жизни, как отец Гребнева на войне. В судьбе поэта – судьба России, а в судьбе России – его судьба. И потому в гражданской лирике Гребнева – боль за народ, за его духовное и культурное достояние. Такая поэзия дорогого стоит.

Конечно, поэзия – пирог многослойный! Так вот, в том слое, в котором находится творчество Анатолия Гребнева, ему равных нет. *И мне понятна обида и даже затаённая злоба на Гребнева некоторых «полководцев» проигранных сражений, ибо они остались с «нулём», а у поэзии Гребнева есть будущее (ведь мы отталкиваемся от убеждения, что душа бессмертна).*

Обнарудовался со своими стихами Анатолий впервые в 10-м классе, напечатавшись в районной газете «Колхозная стройка». Это были непосредственные впечатления как раз о летнем сенокосном труде в лугах... Кстати, сочинение Гребнева на «Аттестат зрелости» было признано лучшим и оставлено на хранение в архиве школы.

Вот в такой атмосфере вырастал и формировался наш будущий поэт.

Если пристальней в детство взглядеться,  
Никого ни за что не вина, –  
Не припомню я всё-таки в детстве  
Ни единого чёрного дня... («Бессмертник»).

У Толиных сверстников полных семей, по сути, не было – единицы. Отцы полегли на полях сражений, пали в боях Великой Отечественной. Особенность поколения. Жил в селе Андрей Ефимович Кротов (помните, это одна из коренных фамилий в Чистополье), и рос у него сын Шурка, в семье он был средний, Анатолия Гребнева годом старше, но дружили. Правда, дружба эта носила несколько странный характер, постоянного взаимного соперничества и

Гребнева и Кротова во всём, начиная с рыбалки, позже в игре на гармошке и баяне и в прочих вещах. Семья Кротовых была зажиточной. По причине какого-то физического дефекта Андрей Ефимович на войну не ходил. Работая в колхозе, он гнул дуги для конской упряжи и санные полозья, изготавливал сани, клал печи, катал валенки, имел два десятка пчелиных ульев, до той поры пока было разрешено, которые стояли в хорошем, медоносном месте... Кроме того, владел редким для того времени инструментом – алмазным стеклорезом и стеклил рамы. Стол у Кротовых всегда ломился от еды, ремесло хозяина было сытным и кормило всю семью очень хорошо.

Короче, Шурка катался как сыр в масле, ни в чём не ведал недостатка, был избалованным, самоуверенным и очень заносчивым – употребим здесь недеревенское словечко – сибаритом. Привык он чувствовать себя среди сверстников во всём первым. Учился, надо признать, неплохо; директор школы, Павел Илларионович Кротов (тот самый Пауль Лэбэн), Шурке благоволил (был он, по мнению Анатолия Гребнева, видимо, не просто однофамильцем, а приходился Кротовым роднёй, но, вероятно, далёкой). Школу Шурка окончил с серебряной медалью и оказался первым в Чистополье медалистом, и это для села стало событием историческим, а для Шурки с его самолюбием, может быть, в чём-то даже и пагубным. Как и то, что Шурка первым из сверстников поступил в высшее учебное заведение – в инженерно-строительный институт города Горького (ныне именуемого снова Нижним Новгородом).

И с этим Шуркой однажды произошла у Толи драка. В Чистополье стали расформировывать детдом. Должен был состояться прощальный вечер, наутро детдомовцев увозили. Шурка с одной из детдомовок хотел завести шурымуры, но взаимности не получил. От этого отказа самолюбие Шурки выиграло, и он сразу нашёл способ выместить свою обиду. Прикинул, что коли музыкальный работник

детского дома Маргарита Николаевна уже рассчиталась и уехала, значит, играть на танцах будет некому. И он решил, что сегодня играть на танцах не будет, и Толю по-дружески уговорил и взял с него слово, что он тоже не возьмёт в руки баян. Вот пусть детдомовцы «повеселятся».

Шурка, Толя и ещё трое их товарищей собрались вместе, выпили для смелости и весёлости по стакану водки и отправились на танцы. Пришли, а там детдомовцев собралось под сотню, наверное, человек – полон зал. Но никто не играет, настроение у всех подавленное, атмосфера, как на похоронах, тоска... Но Толя же с детдомовцами вместе всё детство, у него там работала мама, у него там друзей было полно. И все они – круглые сироты, хотя и повзрослевшие, ведь и сам он без отца – сирота наполовину. И сейчас Толя Гребнев почувствовал себя предателем по отношению к детдомовцам. Ведь у них же – вечер *прощания* с Чистопольем. Про Шурку, ничего этого не изведавшего, подумал: «А пошёл ты!..» Взял в руки баян и начал играть вальсы, фокстроты... И воспрянула молодёжь, пошли танцевать, веселье закипело-забурлило.

Через какое-то время подходит ко Гребневу тёзка, Толя Фокин, друг по футбольной команде – вратарь, говорит, что Шурка Кротов вызывает Толю на улицу для разговора. Гребнев сразу понял, для какого разговора. Отставил баян, вышел.

«Ты – предатель!» – бросил ему злобно Шурка.

Он ударил первым. Проучившись три года в таком большом городе, как Горький, Шурка чувствовал несомненное моральное превосходство над Гребневым, первокурсником мединститута.

Гребнев первым ударить друга не смог бы. Но уж когда его ударят, он загорался так, что ничего не помнил. Завязалась драка, да такая, что Шурка вытащил ножик... Тогда Толя, не ведая страха, схватил решительно камень, которых вокруг валялось в изобилии...

Не поддался. Вышла ничья. Но подрались тогда крепко, с ожесточением, памятно.

\* \* \*

В Пермский медицинский институт Толя поступил в 1959 году.

Я на вилах последнее лето  
поднимаю зелёным пластом<sup>8</sup>.  
Деревенская песенка спета.  
До свиданья,  
родительский дом!

Приехал в Пермь, к брату Лёне, который был ему вместо отца, долго искал медицинский институт, перепутав в сознании свои улицы Большевикскую и Коммунистическую. Самоуверенности и апломба хоть отбавляй. Говорит брату: «Только институт или завод! В медучилище – ни в какую!»

Почему завод? А потому, что для деревни того времени слово «завод» было настолько магическим, что воспринималось в сознании юноши равнозначным словом «институт».

Сегодня Анатолий вспоминает, что при поступлении ему везло просто невероятно, самым тем, что ни на есть чудесным образом. Было время хрущёвских нововведений. В тот приснопамятный год даже медалистов заставили сдавать экзамены. И Толя видел трагедию одного такого медалиста, который не сдал немецкий язык. Медалист в слезах, а мать и бабушка утешают его... А Толе на экзамене по немецкому попала тема «Седьмой крест» Анны Зегерс. Но именно эту тему – одну из немногих – Толя учил и знал.

Физика. Он выучил по ней ещё в школе, готовясь к выпускному экзамену, восемь билетов, и при поступлении ему попал билет из числа этих восьми – «Закон Кулона».

---

<sup>8</sup> Пласто – м. Пласт – это количество сена (или травы, соломы, даже навоза), поднимаемое руками на вилах в один приём.

Сочинение. Тут уж Анатолий размахнулся. Сочинил эпиграф в стихах и подписал – Анатолий Чистопольский. А тема была: «Лирическая поэзия Маяковского и обличение буржуазного строя»...

Итак, чудом каким-то Гребнев поступил и стал учиться. Это была судьба, Бог вёл его, Толя любит повторять иногда эти слова.

В апреле следующего, 1960, года отчима не стало, умер Максим Григорьевич от сердечно-лёгочной недостаточности. Только много позже произошла у Гребнева переоценка всего, понимание того, как рано умер Максим Григорьевич и что значил этот бесценный человек для их семьи в те нелёгкие годы, пришло чувство вины и покаяния... Ведь умер-то отчим всего в 55 лет. Разве это возраст? Конечно, фронтовики, прошедшие Великую Отечественную войну, много пережившие и перенёвшие, пили после войны сильно, это тоже сказало; и пили в той безденежной ситуации чаще всего, что было доступнее: денатурат, одеколон, а то и политуру. Просто травили себя мужики.

Вспоминаю, как дядя мой, Фёдор Никандрович – тоже фронтовик, купили с Васей Анциферовым бутылку политуры. Я был свидетелем этой сцены. Зашли к Васе домой. А в доме – шаром покати, нищета, голое серое дерево... На кровати – ком тряпья. Фёдор Никандрович (как я – мальчишка лет десяти – понял из разговора) политуру до этого не пробовал, хотя выпить был очень даже не дурак. Вася, в волнении расхваливая этот напиток и чудодействуя, вылил его в большую миску, сыпнул туда добрую щепоть серой крупного помола соли и принялся медленно размешивать. Я с детским любопытством наблюдал. И вот вижу, коричневая жидкость стала светлеть, а в ней образовалась бурая студенистая масса. Чтоб отделить её, процедили жидкость через ткань – уголок серого полотенца. Стали пить. Пьют и нахваливают, пьют и нахваливают. Как-де вкусно-то. А какой ребёнок не любит вкусное? Я сидел на лавке, дожидая

ась дядю. Бутылка стояла рядом. Я взял её и оставшиеся на дне ёмкости далеко не сорок мифических капель, а чуть ли не глоток, вылил себе в рот... Понимаю, почему любители такой отравы долго не живут.

Я не буду пить вино –  
Сорок градусов оно;  
Буду пить денатурат –  
Девяносто в аккурат.

Да и водка-то какая была в то время... Михаил Левин в разговоре со мной 7 ноября 2008 года вспоминал, как в 1969 году довелось ему отведать на Дальнем Востоке, в Совгавани, где проходил службу, водку по цене 2-12, запечатанную ещё картонной пробочкой, вдавленной в горлышко и залитой сургучом. Удивился, откуда её парень взял?.. В Перми такой давно уже не было. Когда отведал – был в шоке. Отменная оказалась гадость, вот уж настоящий «сучок», так «сучок». Оно и понятно, никакой же очистки, по сути-то, не было в то время. Да и водка «Московская» после, по цене 2-87, была ничем не лучше. Эту я уже и сам помню хорошо. И сколько этой дрянью перетравили русских мужиков – один Господь Бог только ведает.

\* \* \*

После Анатолий Гребнев и Александр (Шурка) Кротов помирились. В 1963 году оба студента – один третьекурсник, другой пятикурсник – встретились у Кротовых за столом. Андрей Ефимович выставил медовую бражку. Сидят, выпивают, закусывают, беседуют. И говорит Кротов-отец: «Вот у Анны Антоновны все дети золотые. А у нас Шурка – пустоцвет!»

И слова его – как чувствовал – оказались провидческими: женился Шурка на соблазнённой им девчонке-десятикласснице, она родила двойню, а Шурка её бросил, институт не окончил, уехал в Ростов, диплом подделал, ра-

ботал на стройке, дюзнул материалы какие-то... Судили Шурку и дали ему пять лет. Отсидел срок, вышел на свободу, на работу с судимостью устроиться было очень не просто, а жить надо, есть хочется неотвратно, он украл несколько банок краски... И снова – срок. Так и заскрежетала исковерканная жизнь.

В конце шестидесятых годов Гребнев с Шуркой ещё раз встретились в Чистополе, вспомнили, что когда-то оба увлекались шахматами, сыграли партию... К этому времени Шурка уже «разложился»... Но Андрей Ефимович, отец Шурки, возможно, и сам во многом виноват, забаловал он сына своего в детстве, он ему по сто рублей давал на карманные расходы в то время, когда детям других семей перепали только копейки (а сто рублей в масштабах дореформенных цен это стоимость – опять же для удобства сравнения – четырёх бутылок водки, огромные по тем временам деньги).

Пока Анатолий Гребнев учился в мединституте, мать коровой не попускалась, держала кормилицу вплоть до 1965 года, поддерживала<sup>9</sup> детей, снабжала их молочными продуктами... Здесь я позволю себе небольшое отступление, ибо в моём представлении корова – это вообще какое-то невероятное создание – чудо природы, на которое у меня не хватает воображения, чтобы надивиться! Просто – дар Божий человеку! Летом она ест зелёную траву, зимой – сухое сено, а то и солому (случается, в бескормицу и гнилую), а даёт – и без всякой корысти – белое вкусное и питательное молоко. А сколько из него производных: сливки, сметана, простокваша, творог, масло (сливочное и топлёное), пахта, сыворотка... Не перечислить. В голодные годы многие семьи только коровой и спасались... И суррогатные

---

<sup>9</sup> От Котельнича до Перми железнодорожный билет в 1960-х годах стоил 6 рублей 50 копеек, так бабушка Наталья Николаевна со своей 12-рублёвой пенсией всегда Толе-студенту при отъезде из дома незаметно совала в карман трёшницу.

лепёхи не так горло дерут, когда их запиваешь молоком, а главное – из молока делали творог, а этот продукт в голод очень выручал. Моя мама, к примеру, вспоминала, что в голод после Гражданской войны, когда она была ещё маленькой (год рождения 1915), только за счёт творога и выжили в бесхлебицу... Ну, а если в хозяйстве с коровой да есть ещё и добрая мука, тогда уж в праздник стол отстряпни сдобной ломится!..

Но возвращаемся, таким образом, к нашей теме. Все дети Анны Антоновны получили медицинские специальности. И трое из них нашли работу в Перми, только Лёня вернулся обратно в Кировскую область, где – забегая далеко вперёд, скажем – проработал врачом до 77 лет.

Уже на седьмом десятке лет обессилившая мать, будучи не в состоянии в зимнее время содержать в Чистополье огромный дом – дров не напасёшься, перебралась в Пермь, к детям. Пожила она у всех своих детей, но больше у дочери Лиды, третьей после Лёни, здесь, у неё, и умерла в 1984 году, в возрасте 76 лет. Но каждое лето Анна Антоновна обязательно уезжала на родину, в Чистополье, обитала в своём доме, садила небольшой огородик, ухаживала за ним. Сюда к ней навещивался и старший сын, Лёня, и обязательно приезжал Анатолий.

В одном из своих рассказов, «Во всю Ивановскую», Владимир Крупин подробно и колоритно описывает такую поездку в Чистополье в 1983 году, в которой и сам он принимал участие. Приведу здесь некоторые фрагменты.

«Играла там гармошка, но гармонист, завидя Толю, поспешно свёл мехи и сдал полномочия. Толя согласно законам приличия поотказывался, но тут вывернувшаяся сбоку и обнимающая Толю старуха прокричала:

– Гармонист у нас хороший, мы не выдадим его!

Всемером в могилу ляжем за него за одного!

И дело было решено – Толя заиграл. Ох, как он играет! «Цыганочку», «Сербиянку», «Прохожую», несколько ча-

стушечных размеров, любые песни, вальсы, фокстроты – словом, нет того, чего бы Толя не выразил в звуках гармони или баяна.

Частушки шли внахлёстку, их было мудрено разобрать и запомнить, потому что веселье хлынуло враз и все почти хотели выкричаться.

Толя упарился. Уже старухи, жалея его, кричали другим гармонистам, чтобы сменили его, но те не решались: что и говорить – поиграй-ка после мастера. И Толя продолжал.

Многие поколения русской молодёжи немислимы без музыки именно гармошек... Гармониста берегли. В драках его заслоняли и не позволяли вступать в потасовку. А когда парни шли в чужую деревню или навстречу другой компании с гармошкой, тут гармонист был первое лицо. Случалось, что одной игрой, резкой, громкой, складной, одерживалась победа. Встречные не выдерживали, сворачивали, шутками и восклицаниями извиняя своё поражение.

Плясуны усердствовали. Петро, запыхавшись, свалился на скамью и кричал Толе:

– Перестань играть, они с ума сойдут!

– Этот Витька да ещё один на прошлую Ивановскую трёх гармонистов утолкли, – сказал сосед».

Вот такие фрагменты из широкой картины деревенского празднования, запечатлённого виртуозным пером Владимира Крупина.

И сегодня (когда, казалось бы, всё уже вымерло вокруг) на Ивановскую съезжаются в Чистополье бывшие жители, рассеянные по всей, можно сказать, России. Сбор их – это

ещё и возможность показать землякам, кто чего в жизни достиг, кто на чём приехал: на автобусе или на своей машине, а если на своей, то какой марки...

К зиме Анна Антоновна из Чистополя снова возвращалась в Пермь, к дочери.

А похоронена Анна Антоновна на родине, хотя завещания такого она не оставила, но дети разумно решили, что мать должна покоиться на родном кладбище, в одной земле со своими родными, а не на чужбине.

Самое поразительное для меня то, с какой ответственностью за судьбу своих детей прожила Анна Антоновна свою нелёгкую жизнь. Она без остатка – впрочем, как и подobaет всякой матери! – принесла себя в жертву детям. Это великая женщина! Низкий ей поклон и вечная память. Ибо мать, как сказал Анатолий в поэме «Голос матери»:

... вовеки не заменит  
Ни друг,  
    ни брат  
        и ни жена.

Этой поэмой Анатолий исполнил свой сыновний долг перед матерью.

\* \* \*

Однажды в обычной товарищеской беседе я услышал от Анатолия, что двоюродных сестёр-братьев у него больше сорока человек (обширная была родня), из них более двух третей с медицинским образованием – врачи, медсёстры. И он смеётся, что можно фамильную клинику открывать. У него и жена, Галина Ивановна, всю жизнь проработала в медицине, врачом-окулистом.

Будучи студентом Пермского медицинского института, Анатолий стал часто печатать свои стихи в институтской

газете «Медик Урала». Газета ежегодно проводила поэтический конкурс с присуждением премии победителям: первая премия составляла 15 рублей, вторая – 10 рублей, третья – 5. Гребнев побеждал в этих конкурсах, равных ему здесь не было. И остальные участники на фоне его таланта смотрелись настолько бледно, что после третьего участия Гребнева в конкурсе газета отказались проводить их, мотивируя тем, что пока тут Гребнев учится, конкурсы проводить бессмысленно.

В студенческом фольклоре мединститута бытовали стихи, в которых с юмором были зарифмованы трудно запоминаемые медицинские термины на латыни (слова курсивом выделены мною. – В.Б.):

Как возьму я фибулю<sup>10</sup>  
Да стукну по мандибуле<sup>11</sup>,  
Так узнает cerebrum<sup>12</sup>,  
Как краниум<sup>13</sup> звенит!

Или вот о костях черепа:

Как на ламина криброзе<sup>14</sup>  
Поселился криста галле<sup>15</sup>,  
Впереди форамен цекум<sup>16</sup>,  
Сзади – ос свиноидале<sup>17</sup>.

Оттолкнувшись от студенческого фольклора, Гребнев внёс в него и свою лепту. Даже преподаватели, доценты и профессора и цитировали, и ссылались на эти специфиче-

---

<sup>10</sup> Малоберцовая кость.

<sup>11</sup> Нижняя челюсть.

<sup>12</sup> Мозг.

<sup>13</sup> Череп.

<sup>14</sup> Решётчатая кость.

<sup>15</sup> Петуший гребень.

<sup>16</sup> Слепое отверстие.

<sup>17</sup> Кость клиновидная.

ские стихи Анатолия Гребнева на своих лекциях. К примеру, вот на такие:

При ревматизме набухает  
Соединительная ткань.  
Процесс на этом не стихает:  
Во всём тут строгий, чёткий план.

Начнётся дальше, нам известно  
(А точность очень дорога),  
Здесь размноженье клеток местных  
Вкруг пораженья очага.

Как указал нам Талалаев,  
У гранулёмы фокус есть  
И клетки крупные по краю,  
И лимфоцитов в ней не счесть.

Среди включений этих разных,  
Как указатель на обмен,  
У крупных клеток протоплазма  
Содержит также гликоген.

Для гранулёмы час настанет,  
И в третьей фазе, наконец,  
Волокна сердца перетянет  
Образовавшийся рубец.

При ревматизме боль жестока –  
Суставы все избородит,  
Но тяжесть главная – пороки  
И клапанный эндокардит.

Чтоб был финал не очень грозен,  
И чтоб ответ отличным был,  
Запомни, что насчёт некроза  
Профессор Коза говорил... и т.д.

Редактором газеты «Медик Урала» был в то время Борис Давыдович Гринблат. В Пермь он попал из Одессы во время войны тринадцатилетним подростком, когда был эвакуирован с родителями, да здесь и остался. Ныне прах

его покоится в одном из кварталов Южного кладбища, в развилке центральной дороги. И в дни всеобщего поминовения усопших, обходя могилы родных, знакомых и друзей, Гребнев обязательно посещает и его могилу, на которую несколько лет назад наткнулся случайно (случайно ли? ведь в судьбе всё взаимосвязано и случайностей, как показывает жизнь, не бывает).

Не однажды вспоминал Гребнев такой случай, как он, студент, с заносчивой развязностью признанного поэта шёл по Комсомольскому проспекту в группе подгулявших собратьев. В районе ЦУМа встретился им Борис Гринблат, взгляды их пересеклись. Смерив Гребнева презрительным взором и выпятив *неповторимо характерным бантиком* свои губы, Гринблат бросил насмешливо только одно слово: «Деградируешь?»

Эта язвительная оценка так ощутимо резанула чувствительную совесть Толи, так ему запомнилась, что, он считает, сыграла не последнюю роль в его дальнейшем поэтическом развитии. Если б подобное и своевременно происходило с каждым поэтом, думается, хороших поэтов у нас было бы больше...

Итак, Анатолий Гребнев вырос в деревне. А речь деревенского учителя, особенно здесь родившегося и выросшего, или городского по рождению, но долго прожившего в сельской местности, она мало чем отличается от речи остальных жителей села, деревни. Бывает, что и учителя произносят, к примеру, слова «ложить» вместо «класть», «хочут» вместо «хотят», «обезумел» вместо «обезумел» и тому подобные.

Однажды Анатолий Гребнев принёс Гринблату стихи, в которых были зарифмованы слова «скорость – корысть». Гринблат молодого поэта высмеял, он умел с иронией поддеть так, что оседало в памяти надолго... Зато Гребнев запомнил сразу и навсегда, что нет слова корысть, а есть –

корысть. Стихотворение поэту, разумеется, пришлось переделывать...

Борис Гринблат, надо справедливо признать, первым почувствовал и оценил масштаб и глубину поэтического дарования студента Гребнева, и много лет всячески поддерживал его и следил за его развитием. Когда в январе 1979 года я пришёл работать в Пермское книжное издательство редактором, Гринблат был здесь главным редактором. И я не раз видел, как благосклонно относился он к творчеству Гребнева; на обсуждениях вышедших книг или перспективных планов он хорошо отзывался о его стихах, о нём самом. «Ну, Гре-ебнев...» – говаривал он, бывало, улыбаясь так, как будто знал про себя какую-то тайну о нём. Но я в то время ещё ничего не ведал об истории их взаимоотношений.

Не забыть никогда Гребневу и языковой казус, случившийся с ним при поступлении в мединститут. На комиссии один из преподавателей обратил профессиональное внимание на яйцевидное увеличение (попросту говоря – шишку) у Гребнева на шее с правой стороны чуть повыше гортани, заинтересовался, что это такое. «Корова бола!» – ответил абитуриент. Члены комиссии не поняли, на лицах отобразилось недоумение. Но один из них, оказавшийся родом с Вятки, пояснил: «Юноша имеет ввиду, что его корова бодала...»

В Пермском медицинском институте, пожалуй, одна треть преподавателей того времени были выходцами из Вятки, они себя хорошо зарекомендовали трудолюбием и порядочностью.

Как однажды произнёс Владимир Крупин с высокой трибуны: «Убери всех вятских – Москва наполовину поглупеет». Так эти слова можно было в то время сказать и по отношению к Перми...

Да уж, бодала Гребнева корова. Обещал я, помнится, об этом рассказать.

Жуткая эта история произошла с будущим поэтом, когда ему было два года, живым он тогда остался чудом. У гребневской коровы по кличке Чернушка (она была чёрной масти), матери того самого быка, который и поклажу возил, и землю пахал, рога были острые, как шилья, да ещё с загибом кверху. Грозное оружие, надо заметить, для других коров в стаде. Я пас два лета колхозное стадо, и мне доводилось видеть, как в минуты агрессии коровы с такими рогами пропарывали друг другу бока или, того хуже – вымя. Отец Гребнева, Григорий Александрович, всё собирался спилить острые кончики рогов, но так и не успел это сделать, пришлось отправляться на войну, тогда уже не до коровы было.

И вот эта корова – атаман стада – в очередной раз отелилась. Через какие-то дни телёночка у неё, как водится, отняли, а её спровадили в стадо. В период после отёла идёт очень мощная лактация, организм активно производит молоко, вымя у коровы мучительно распёрло. Она убежала с пастбища, инстинкт гонит её к спрятанному от неё телёночку, который должен отсосать молоко, мчится возбуждённая, злая, буквально как бешеная.

Старшие сёстры Нина и Лида играли в проулке, и Толик двухлетний тут же с ними копошился. Увидев взбешённую корову, перепуганные девчонки ветром взметнулись по ступенькам на крылечко, забыв про братика. А разъярённая корова, мотнув сходу головой, насадила оказавшегося на пути ребёнка на острый рог, вонзив его в шею, и подняла мальчишечку над землёй. Люди – кто-то пригодился в улице – увидели, закричали. Корова сронила Толика, переступила через него и побежала дальше.

Мать в этот час в сенцах молола на жерновцах свежую рожь на муку (дело, значит, происходило в августе – тогда получается, если быть точнее, что было Толе два года и четыре месяца). Выбежала она на крик людей, звавших её, глядь, – а шея у сыночка распорота так, что виднеется «бе-

лое горло», трахея. После она рассказывала, как схватила его (сознание он не терял), занесла в дом, положила в зыбку, дала ложечку молока: проглотит, так будет жить, нет, значит...

Видимо, проглотил, коли живёт. И это чудо, что остался жив; ведь рядом сонная артерия, повредил бы коровий рог артерию и всё...

Как только управились вечером по хозяйству, сразу понесли Толю в село Пишнур, за лесную и рыбную реку Шембеть (названия марийские), за десять километров. Помощь в тамошней больнице какую-то оказали. Но рана вскоре загноилась... Корова занесла инфекцию. Как теперь шутит Анатолий, никто корове не обработал рога перед тем, как один из них она вонзила в него...

Попутно заметить, Галина, супруга Анатолия, в четырёхлетнем возрасте тоже едва не стала жертвой быка. Была одета в платьишко красного цвета, и расвирепевший от красного бычара бросился на неё, прижав к стене. Спасло девочку только то, что тельце её угодило между рогов...

До-олго, целых три месяца, лежал Толик в больнице. 1943 год, война, в лекарствах жуткий недостаток. Шея распухла страшно! Лечила его Екатерина Павловна Палкина. И как он впоследствии оценил, врач, видимо, высокого практического уровня и, как говорится, Божией милостью. Хотя она и числилась терапевтом, но врачом была на все руки, универсалом, и объём её деяний был огромным.

Рану промывали фурацилином, марганцем, перекисью водорода. Ухаживала за ним старшая сестра Нина, которой было девять лет. Впоследствии она вспоминала и рассказывала, что когда Толе делали перевязку и отрывали от раны присохшие бинты, он матерился от невыносимой боли. Взрослых матерщина двухлетнего ребёнка так забавляла, что все они смеялись, а мальчику, конечно, было не до смеха... Этот учебный год в школе Нина из-за больного братика пропустила...

Об этом вспоминала она очередной раз, когда собрались сёстры 5 сентября 2010 года в гостях у брата Анатолия, и разговор незаметно переключился на материал для данной книги. Повела любопытную подробность Нина Григорьевна и про легендарного в их семейном хозяйстве быка, как пришлось с ним расстаться. История его завершилась следующим образом. Кто-то из осведомлённых односельчан предупредил Анну Антоновну, что на днях в сельсовете соберётся сессия и будет принято окончательное решение о конфискации быка. Недолго думая, мудрая женщина тут же осуществила план, который уже держала в своей голове для подобного случая: она погнала кормильца в Пишнур. А врач Екатерина Павловна Палкина, рискуя своим положением и репутацией, оформила задним числом (тремя днями раньше) документы на покупку быка в подсобное хозяйство больницы. У неё тоже были свои давние виды на этого широко известного в округе быка, как необходимую в хозяйстве рабочую силу. Деньги, конечно, оказались невеликие, но тут уж приходилось выбирать: либо совсем даром отдать скотину сельсовету, либо взять за неё хоть небольшие деньги для семьи.

Но вернёмся ещё к разговору о матери быка. Чернушка была корова-ведерница: разовый удой составлял 15 литров. И вот эту кормилицу в 1946 году украли. Увели ночью прямо из загона. А чтоб не оставляла копытами следов, ноги ей обули в лапти. В одной дальней деревне бабы пошли в лес за грибами и наткнулись в лесу на корову, привязанную к дереву. Конечно, воры хотели её забить на мясо, но что-то им помешало, возможно, кто-то спугнул. Вымя у коровы разбухло от молока. Женщины тут же подоили её прямо на землю и увели в свою деревню.

Через какое-то время стало слышно, что корову ищет Пётр Яковлевич, муж Елизаветы Антоновны – сестры Анны Антоновны Гребневой. Когда он пришёл в эту деревню

и Чернушка услышала его голос, отозвалась протяжным, долгим мученическим мычанием.

Пётр Яковлевич тоже личность занимательная. После войны работал лесничим. На фронте он имел офицерское звание, получил тяжёлое ранение в голову, потерял теменную часть черепа, которую ему в госпитале заменили металлической пластинкой. В 1943 году был комиссован, но до конца войны служил при военкомате наборщиком молодёжи в армию. Располагал правом давать отсрочку от призыва на две недели, а это иногда имело великое значение для людей.

После войны – было это, примерно, в 1949 году – Анна Антоновна работала уже в школе. Лида, младшая из Толиных сестёр, та, что с 1939 года, умирала от скарлатины. Чтобы спасти девочку, ей сделали прямое переливание крови от матери. Всё та же Екатерина Павловна, терапевт-универсал. Сделали раза три, и всё – наступил кризис, дело пошло на поправку. Но после скарлатины у Лиды произошло осложнение на лёгкие, двустороннее воспаление. Досталось бедной девочке.

Спасая дочку в дни болезни, Анна Антоновна два дня не выходила на работу. После этого директор школы Чибиков дважды сгонял её в Арбаж (в то время район был Арбажский) аж за сорок (!) километров, чтоб в районе документально подтвердили, что дочь была действительно больна, лежала в больнице и нуждалась в посторонней помощи. Без этой справки Чибиков грозился уволить Анну Антоновну по статье *за прогулы*, а в то время сие значило – испортить человеку напрочь всю его трудовую биографию.

Чиновничьего произвола хватало во все времена. «Это зверьё, – сказал Анатолий, – и погубило деревню. Измывались над честными и трудолюбивыми людьми...»

Нелепые, абсурдные административные перекройки 1960 годов: укрупнение районов, разукрупнение районов – тоже плоды такого произвола и волюнтаризма... Не забыть

Толе, как в пятом классе, 19 мая, их, учеников школы, гнали в Арбаж за сорок километров пешком на районный пионерский слёт. Голодные, усталые, замёрзшие...

Вот на месте этой с трудом заросшей у Толика на шее раны, в которую ставили дренаж для выпуска гноя и которая зарастала уже вторичным натяжением кожи, и образовалась шишка. Ох, и покомплексовал он из-за неё в годы юности.

Уже в бытность его студентом 4-го курса медицинского института ему предложили сделать операцию. Шишку удалили, рану зашили. И заросла бы она так, что шрам оказался почти незаметным. Если бы в благоприятные обстоятельства не вмешался ещё один роковой случай.

Анатолий стал оказывать знаки внимания привлекательной девушке, курянке (из Курска, значит), а за ней ухаживал другой студент, звезда факультета, капитан футбольной команды института. Но девушка курянка отдала предпочтение почему-то весёлому и талантливому Толе. И тогда соперник, поднабравшись алкоголя, пришёл сводить счёты, вызвал Толю из комнаты. «Дуэль» происходила в коридоре общежития. Толя стоял у стены, противник со всей силы размахнулся, чтоб ударить его в лицо. Но Толя после памятной драки в своём селе с Шуркой Кротовым занимался боксом, готовя себя к возможной повторной встрече с заклятым врагом, он мгновенно среагировал, резким рывком откинув голову влево... И незадачливый «Отелло» всю силу своего удара вложил в стенку... Что стало с его рукой – неизвестно. А у Анатолия едва начавший срастаться шов – разорвался.

Сбежались девчонки и Толю, обливающегося кровью, увели, оказали помощь. Вот после этого и остался у него на шее заметный рубец.

О-о, весёлая общежитская жизнь студентов, она была полна романтики и самых невероятных приключений! Од-

нажды в июне произошёл случай, когда девушка, готовясь ночью к экзамену по акушерству, сидела на подоконнике, заснула, и сонная вывалилась в окно с четвёртого (!) этажа. Когда пришла в себя, видит, что лежит на газоне, поднялась и пошла стучаться в закрытую дверь общежития. Вахтёрша в недоумении, что студентка в пять часов утра заявила в одной сорочке... Не хочет пускать её и ругает нехорошими словами, какими называют только девушек чрезмерно лёгкого поведения... Но когда студентка объяснила, что с нею произошло, то сразу вызвали «скорую», увезли девушку, обследовали и не обнаружили никаких повреждений, кроме легкого сотрясения мозга да крови в моче... Этот случай можно назвать просто чудом. После такого приключения студентке этой, ставшей легендарной, поставили четвёрку автоматом.

А вот другой случай, происшедший со студентом N, которого Гребнев не просто хорошо знал, но который был его земляком и другом. Кто-то донёс коменданту общежития, что в комнате студента N ночует девушка... Возмущённый и негодующий комендант по фамилии Бескровный, прихватив нескольких свидетелей, ринулся в эту комнату. На стук никто не открыл. Ну, какой ещё нужен аргумент для доказательства, что там действительно ночует девушка?.. Да и какая уж это «девушка»-то, а? Тут уж стали набиваться в дверь с угрозами исключения студента из института, если он дверь не откроет немедленно.

Через какое-то время дверь, наконец, отворилась. Студент N предстал взору коменданта в одних трусах, недоуменно потирая глаза и изображая только что проснувшегося человека...

– Где она!?! – воскликнул злорадно комендант, врываясь в комнату и предвкушая встречу с поверженной в позоре и стыде полуголой девицей.

– Кто? – спросил с удивлением студент.

– Эта-а... – возможно, у коменданта на языке крутилось нехорошее слово, но сдерживал себя до времени.

Он проверил шкаф, заглянул под кровати – никого, пошёл даже к окну, открыл створку и глянул вниз. Нет, выпрыгнуть с четвёртого этажа гостя, конечно, не могла... Комендант не в состоянии был поверить, что в комнате нет посторонних. Сведения, о том, что эти самые посторонние там есть, были архидостоверны. Но никого же нет, и свидетели того, что никого нет – вот они, рядом стоят.

– Почему долго не открывал? – спросил он тяжёлым тоном.

– Сегодня устал очень, разгружать ходил вагоны. Пришёл вот и уснул сразу. Крепко, видимо... Не слышал, что стучат. А как услышал, вот сразу открыл, – объяснялся студент, всем видом своим как бы говоря, что он только что из тёплой постели, которая действительно была расправлена, а его уже знобит от холода.

Комендант в угрюмом недоумении вышел со своей свитой. И студент закрыл за ними дверь и с облегчением перевёл дух. Честно говоря, его потряхивало не от холода, а от пережитого стресса: на связанных простынях он только что спустил свою подружку с четвёртого этажа. Отважная оказалась студентка. Тем более что связка не доставала до земли, и последние метра два девушке пришлось прыгать. Отважная. В противном случае он бы точно вылетел из института, как воробей из скворечника...

Студенческая жизнь вообще богата разными экстравагантными поступками. Поскольку Гребнев вырос буквально на реке, то очень неплохо в молодости плавал. И с этим немало было связано приключений в его жизни. Об одном из них стоит здесь рассказать.

Однажды летом он в группе приятелей купался и загорал на пляже правого берега Камы, напротив художественной галереи. И вдруг поспорили, кто сможет переплыть

Каму туда-обратно без передышки, а там ширина километр. Гребнев дерзнул.

Это с берега Кама кажется такой величественно спокойной рекой. В действительности течение в ней очень сильное, Толя почувствовал это особенно на середине реки. И всё-таки, преодолевая течение, он выплыл почти на художественную галерею. Но спор есть спор – пришлось плыть обратно... И вот теперь обессиленного Толю снесло течением вниз километра на полтора. Нынешнего автомобильного моста через Каму, на который выходит улица Попова, тогда ещё не было, народ ездил на речном трамвайчике. Когда, выбившись из сил, едва живой Анатолий выполз снова на правый берег то долго лежал на песке, приходя в себя... Но, главное, спор выиграл. А нефтяные пятна с поверхности в то время активно судоходной реки, осевшие на плечи и торс пловца, пришлось ему после отмывать в течение целой недели...

В те годы пермские писатели были частыми гостями студенческой аудитории, выступали в общежитиях. Леонид, брат Анатолия, однажды рассказывал ему, ещё только начинающему поэту-студенту, что у них выступали поэты Радкевич и Ширшов и устроили между собой состязание, сочиняя стихи на ходу, экспромты. И было это и удивительно, и весело. Анатолия такое сообщение поразило необыкновенно: как это можно стихи так сочинять мгновенно?..

В 1963 году Анатолий побывал на выступлении Виктора Астафьева, жившего тогда уже в Перми, и познакомился с ним. А через год, когда Анатолий учился на пятом курсе, он присутствовал на встрече с поэтом Владимиром Радкевичем, который выступал у них в общежитии, и познакомился с ним, жадно внимая каждому живому слову настоящего талантливого поэта.

Борис Гринблат предлагал Анатолию перейти на филологический факультет Пермского государственного университета, у него была возможность устроить это Гребневу даже без вступительных экзаменов. И Анатолий чуть было не поддался такому соблазну, но брат Лёня отсоветовал ему переходить на филфак. «А если не будет писаться? – так поставил он вопрос. – А врач есть врач... Кусок хлеба будет всегда». И поэт вовремя отказался от своей затеи.

Тем более что, по признанию Анатолия, слово «врач» для деревни, для его матери звучало и воспринималось очень весомо, сверхавторитетно; оно и понятно: сама она крестьянка, деревенщина, а сын – врач. Ради будущей этой профессии сына мать даже со своей сорокапятирублёвой пенсии ежемесячно высылала ему в город по десять рублей. А кроме того, он понимал (хотя в то время, может быть, ещё интуитивно), что если он будет заниматься только поэзией и расстанется с профессией то с его-то бесшабашностью точно «сковырнётся с копыльев»<sup>18</sup>. А тут мать, конечно, успокоилась: слава Богу, на врача выучился сын, хорошую профессию получил.

\* \* \*

По окончании в 1965 году мединститута молодой специалист-стоматолог Анатолий Гребнев был по его желанию распределён в родную Кировскую область. Брат Лёня уже работал там врачом и наставлял: не бери только Кичму и Мухино<sup>19</sup>, глухоманные места. Поначалу Анатолий устро-

---

<sup>18</sup> На копыльях (вертикальных брусочках), вдолбленных в санные полозья и стянутых поперёк саней специальными деревянными вязками, держится всё устройство саней. Свернувшиеся с копыльев сани уже не пригодны для использования.

<sup>19</sup> В семи километрах от села Мухино Зуевского района находится знаменитое село Рябово, откуда родом выдающиеся русские

ился работать в самом Кирове, помог Клайд (да, такое вот необычное имя), Клайд Косачёв, хорошо знакомый по мединституту – жили в одной комнате, окончил курсом раньше, а теперь – уже главврач стоматологической поликлиники. Но Клайд помог не сразу, потому что не было прописки. А без прописки он даже друга принять на работу не мог. С жильём здесь было совершенно беспросветно (и на пути к коммунизму трудно жилось тогда народу). Но и в этом помогли друзья, они прописали Гребнева в одном месте, а жить ему пришлось, вернее – ютиться на постое, в другом: в однокомнатной квартире, которую занимали мать с сыном. Толя оказался здесь третьим, и спать ему приходилось на раскладушке. Хозяйка была народным судьёй, а сын – мастер спорта по классической борьбе. По утрам он шумно делал зарядку, растягивая эспандер...

9 сентября 1965 года молодой врач Анатолий Гребнев был принят на работу и приступил к ней без промедления.

Кичма, Кичма. Это сказать легко: «Не бери только Кичму...» В той глухомани не было стоматолога, и постоянно допекали отдел здравоохранения просьбами его сюда прислать. И облздрав попросил Анатолия поехать на два месяца в Кичму, поработать в сельской участковой больнице. Он согласился.

Если в Кирове негде было жить, то в Кичме Гребневу сразу давали дом, целую усадьбу. Он подумал: а зачем ему, холостяку, усадьба, да ещё на пару месяцев? И согласился жить при больнице, в комнате для приезжих, а от усадьбы отказался великодушно в пользу семейной сотрудницы больницы. Как она была благодарна Анатолию, как она была счастлива!

Комната оказалась вполне приличных размеров, примерно четыре на пять метров. И прожил он здесь, в отдалении от городской суеты, вместо двух месяцев – целых че-

---

художники братья Виктор и Аполлинарий Васнецовы. Здесь ежегодно, в августе, проходят Васнецовские чтения.

тыре года. И это уединение для начинающего врача и начинающего поэта оказалось пусть и нелёгким, но своевременным и благотворным. В Кичме, вспоминает Анатолий, имелась потрясающая библиотека, и, естественно, он много читал, не скупясь – покупал хорошие книги, много и сам сочинял, писал...

И звон прошёл по заводам и рекам!  
И вмёрзло в лёд рыбацкое весло.  
Оранжевые лиственницы снегом,  
Покровским снегом за ночь занесло.

И стало так торжественно и пусто  
В больничном белом замершем саду.  
И я по хрусткой тропочке с дежурства  
В халате белом медленно иду.

Мне хорошо,  
Светясь, душа стремится  
На звон и свет  
начавшегося дня.  
Ещё ты письма пишешь.  
И в больнице  
Ещё никто не умер у меня.

Однако было не только умиление, душа не только свети­лась, но, бывало, изъедала душу и безысходная тоска за­холустья, порой жизнь здесь казалась невыносимой: одно­образной, томительной, серой и унылой .

Участковая больница.  
Синь-леса, поля-пески.  
Здесь ты думал удавиться  
**От безлюдья** и тоски.

Но за дни врачебных буден  
И за ночи –  
напролёт.  
Ты узнал, что **есть тут люди**.  
Да какой ещё народ!



сле этого автору неожиданно хлынул поток проникновенных читательских отзывов, шёл просто невероятный обвал писем: из Киева, Риги, Барнаула и так далее. Что говорить, народ был другой, совсем другой... Да и конверт с маркой в 1966 году, стоит заметить, можно было купить всего за пять копеек, я специально проверил это. И если средняя зарплата того времени составляла 90 рублей, то на неё можно было приобрести 1800 конвертов. Жизнь была совсем другая. Сегодня для такого количества конвертов (в марте 2009 года один конверт на почте стоил 11 рублей 50 копеек) понадобилось бы 20 700 рублей. Фантастика! Соотношение цен какое-то невероятное!

У Анатолия в то время ставка была 96 рублей (а начинающая медсестра получала 60, через три года работы ей добавляли пять рублей), он работал на полторы, вёл на полставки ещё инфекционное отделение.

В одном из писем, пришедшем из Киева, неизвестная читательница, врач, писала о том, что у них в Киеве есть талантливый поэт Виктор Коротич, что по своей первой профессии он тоже врач, но сменил её на профессию писательскую. Дальше она говорила о том, что, может быть, и Анатолий Гребнев тоже поменяет свою профессию врача на профессию поэта.

Зимой 1974 года проходили Всесоюзные дни литературы в Кировской области, Виталий Коротич приезжал в Киров. Анатолий Гребнев в это время жил и работал уже в Перми и заочно учился в Литературном институте. А делегацией писателей во время поездки в Киров руководил как раз преподаватель Литинститута поэт Дмитрий Ковалёв, в семинаре которого Гребнев и учился. И, конечно же, Анатолий страстно желал отправиться в Киров, чтоб встретиться там, на родине, и с Ковалёвым, и, может быть, познакомиться и с другими писателями. Но поехать было не на что, не имелось денег, работал он тогда в семье один, жена находилась в отпуске по уходу за ребёнком. Гребнев поду-

мал-подумал и понёс приятелю своему Владимиру Михайловичу Чайникову, директору букинистического магазина, Библию дореволюционного издания, заложил её, получив пятьдесят рублей. Этих денег было достаточно, чтобы съездить до Кирова, ведь плацкартный билет от Перми до Москвы стоил тогда 15 рублей, а на самолёт – меньше тридцати.

На этих Днях литературы в Кировской области Гребнев познакомился с Павлом Нилиным<sup>20</sup> – автором повести «Испытательный срок», более известной по одноимённой экранизации 1960 года, где роль главного героя исполнил молодой Олег Табаков; состоялось тогда знакомство и с «активным гуманистом, коллективистом и интернационалистом», как было написано в литературной энциклопедии, Виталием Коротичем, который впоследствии, в годы перестройки, станет скандально известным редактором «Огонька», самого массового еженедельного журнала, презрительно и брезгливо высморкавшегося тогда на русскую историю и, в общем-то, как ни крути, – на народ. Через это, наверное, журнал и потерял постепенно своего массового читателя и к сегодняшним нашим дням благополучно скончался.

...Прозреваем теперь понемногу  
В тупике, на глухом рубеже?..

Проработав в Кичме почти год, Гребнев засобирался уезжать. А мужчины-коллеги говорят ему с усмешкой: «Да вот у Ольги Григорьевны приедет дочь на каникулы, и никуда ты не уедешь...»

Дата отъезда была намечена Гребневым на 10 августа. А студентка Ивановского медицинского института, дочь председателя колхоза, Галина Козлова приехала после тре-

---

<sup>20</sup> Очень интересно и живо о Павле Филипповиче Нилине, вспоминая об этих Днях литературы, написал Владимир Ситников в своей книжке «Переделкинские встречи». Киров, 2003.

тьего курса на летние каникулы в родное село 3 августа. Встретились и познакомились Анатолий и Галина, естественно, на танцах в клубе. Но «спланирована» эта встреча была, видимо, на небесах, именно на такое дерзновенное предположение сегодня наталкивает меня вся их совместная жизнь.

Спустя много лет, в 1999 году, Анатолий напишет:

В этом имени лёгком –  
Галина –  
Глубины до конца не постичь.  
Клич мне слышится в нём журавлиный,  
Журавлиный рыдающий клич.

В нём я вижу родную долину  
На изломе июльского дня,  
Где дубы, как живые былины,  
Не о нём ли шумят для меня?

Где простор луговой нараспашку,  
Где небесные слышу слова,  
С ним усну я  
на светлых ромашках –  
И над нами  
Сомкнётся трава.

После годичной отработки Гребнева в Кичме ему предложили место в Кирово-Чепецке с предоставлением жилья в малосемейке. Этот районный город расположен примерно в 30 километрах от Кирова. Там было какое-то очень непростое производство, и даже в те нелёгкие в продовольственном отношении годы он очень хорошо снабжался продуктами, и аж из самого Кирова ездили туда, к примеру, за апельсинами. Получить назначение на работу в такое удачное местечко был бы всякий рад. Однако Анатолий подумал-подумал и отказался, решил остаться в Кичме. Интуитивно он почувствовал, что Галина – это его судьба, и если он уедет из Кичмы, Галину он потеряет. Да и привык он уже в Кичме, приноровился, как говорится.

Из Кирова в Кичму ежедневно прилетал самолёт местных авиалиний АН-2, билет стоил 4 рубля 50 копеек, при зарплате Гребнева от полутора ставок (около 140 рублей) – это была мелочь. Сорок минут – и ты в Кирове; Анатолий летал туда часто и какую-то особую оторванность от культурной жизни областного центра, в общем-то, перестал со временем ощущать.

В Кирове у него завелись очень хорошие, творчески одарённые друзья. Один из них – Олег Кибитов, журналист областной молодёжной газеты «Комсомольское племя», с которой Гребнев активно сотрудничал, печатая в ней свои стихи. Олег, у которого вышла книга с предисловием писателя Юрия Казакова (что само по себе – красноречивейшее свидетельство о степени таланта Олега), оказал сильное благотворное влияние на творческий рост Гребнева. Жизнь его, к сожалению, рано оборвалась... Он помог Анатолию войти в тогдашнюю литературную жизнь Кирова. Здесь Гребнев познакомился с Маргаритой Чебышевой, поэтом, Надеждой Перминовой, поэтом и прозаиком, выпускницей Высших литературных курсов при Литинституте, с Тамарой Николаевой, поэтом. У Маргариты и Тамары в то время уже вышло по книге стихов. Бывало, читали друг другу стихи, обмениваясь впечатлениями, до четырёх часов утра. Это общение давало Анатолию неоценимые знания в постижении тонкостей, неуловимых тайн поэтического творчества.

В двадцати пяти километрах от Кичмы расположено марийское село Сернур, где родился очень большой русский поэт Николай Заболоцкий. Будущий поэт жил там первые годы, пока его отца (агронома) не перевели на работу в Уржум (тоже знаменательное место – здесь родился известный советский политический деятель С.М. Киров, имя которого, как клеймо, носит старинный город Вятка до

сего дня). И Гребнев ездил специально в Сернур, чтоб посмотреть, где родился Заболоцкий, личность которого и философская пронзительная поэзия которого имели очень сильное воздействие на душу Гребнева.

...А если это так, то что есть красота  
И почему её обожествляют люди?  
Сосуд она, в котором пустота,  
Или огонь, мерцающий в сосуде?

И на этот вопрос-загадку Заболоцкого предстояло самому найти для себя ответ, выносить в душе. Поэт своим творчеством учил глубине мысли и эмоциональной напряжённости...

Сегодня Гребнев признаёт, что Николай Алексеевич Заболоцкий очень помог ему тогда в духовном становлении. И это, на мой взгляд, ещё раз свидетельствует о том, что учиться поэзии нужно у хороших национальных поэтов.

Живя и работая в Кичме, Анатолий периодически посещал литературное объединение «Молодость» при писательской организации Кирова. Кстати сказать, Кировский обком ВЛКСМ и редакция областной молодёжной газеты «Комсомольское племя», очень в те годы известной, периодически выпускало поэтические сборники под общим названием «Молодость»<sup>21</sup>, в которые были собраны стихи, опубликованные в молодёжной газете, стихи пробующих силы в поэзии – лесорубов, студентов, библиотекарей, рабочих, инженеров, курсантов, юристов, врачей, клубных работников...

В третьем выпуске «Молодости» (1969 год) среди двух с половиной десятков авторов мы находим и стихи Анато-

---

<sup>21</sup> Традиция выпуска сборника «Молодость» была основана Альбертом Лихановым в 1963 году, в бытность его редактором газеты «Комсомольское племя».

лия Гребнева. Поразительно, что тираж областного поэтического сборника составлял 10 тысяч экземпляров!

В литературном объединении при писательской организации Кирова познакомился Гребнев и сдружился с Леонидом Владимировичем Дьяконовым – двоюродным братом Заболоцкого, тоже сильной личностью, не сломленной репрессиями, через которые он прошёл, как и брат его Николай Заболоцкий. Леонид Дьяконов был поэт и прозаик, руководил литературным объединением. Его повесть «Золотой олень» выходила в Москве двухсоттысячными тиражами. Разумеется, что общение с таким уникальным человеком тоже пошло на пользу и заметно обогатило Гребнева. Впоследствии они состояли в переписке, изредка встречались. Вот, к примеру, что писал Л. Дьяконов в письме Гребневу от 31 декабря 1984 года:

«Толя!

Стихотворение из вашей книжки, посвящённое Н. Заболоцкому, я перепечатал и подарил третьей сестре Заболоцкого – Наталье.

Она его послала (тоже в копии) брату Заболоцкого – Алексею.

Вот что написал ей Алексей 24 ноября 1984 года:

*Спасибо за стихотворение Гребнева, оно мне очень понравилось. Я даже думаю, что это – лучшее из всего стихотворного, что написано о брате (из мне известного). Оно вполне созвучно с рядом Колиных стихотворений на эту тему – как бы откликается на них. Наверно этот Гребнев большой поклонник Колиного творчества.*

Шлю вам этот отзыв взамен Новогоднего подарка и желаю удачи и здоровья.

Низкий поклон Алексею Решетову. Не намечается ли где-либо выпуск его книжки?

Обнимаю!

Ваш неразумный Дьяконов».

В своём письме от 31 января 1985 года Леонид Дьяков пишет Гребневу:

«Дорогой наш Толечка!

Спасибо Вам за доброе письмо! Спасибо Вам за лирику Решетова да ещё с его автографом!

Я шлю Вам новое издание моей “Царевны”, такую же книжку шлю Решетову, прошу передать.

Теперь о Заболоцких.

Его брата я мало знаю и с ним не переписываюсь. А Ваше стихотворение, посвящённое Н.А. Заболоцкому, я перепечатал для его младшей сестры – Натальи Алексеевны. Она живёт в нашем городе и очень помогла мне в сборах документов и материалов о Н. З. Она-то и посылала это стихотворение, ещё раз перепечатав его...

Но только кабы Вы её не обидели, послав через неё книжку её брату и не послав ей.

А я это Ваше стихотворение ещё раз перепечатал и послал в Узбекистан – старшей сестре Н.З. Она мне ответила неуклюже, но, как всегда, очень искренне: “Стихотворение Гребнева оставляет след, он понял основное души Коли, который *в превращениях бессмертной природы поверил в бессмертие своё!*”

А брата Н.З. зовут Алексей Алексеевич.

Вообще-то они, как и сам поэт, мои двоюродные братья и сёстры.

Я буду счастлив, если Вы пошлёте мне свою пермскую книжку, а с Вашей помощью и Решетов пошлёт свою пермскую...

Вера Алексеевна стара – ей 79. Дом, где она жила, снесли, кроме её секции. А она не выселяется, ждёт (и заслужила – врач) квартиру впервые с отоплением и водопроводом. Пока ждёт, она может попасть и в больницу. (Она ещё работает врачом), а те могут дать и квартиру. Так что, если ей будете посылать, так обязательно ценным, чтоб вернулось в случае чего. Её письмо о всех этих печальных

обстоятельствах я получил ещё в декабре, в январе отправил ей своё, тревожное, но ответа всё ещё нет.

Передавая все эти адреса, я отнюдь не толкаю Вас кому-то что-то послать. Это дело исключительно Ваше.

Но эта Верушка, как её звали в семье, в предпоследнем письме послала мне план дома, где они жили в Сернуре и кто в какой комнате и с кем жил. И куда их, ещё малышей, водила мать – дворы, речка, “ёлочки”. А в последнем письме – план их той квартиры в Уржуме, откуда Н.З. уехал в Москву.

Я обнимаю Вас! Мы все Вас любим! Мы хотим, чтоб Вы властно себя берегли.

Ваш чересчур что-то разговорчивый, чтоб не сказать – болтливый, Л. Дьяконов».

Кировскую писательскую организацию лет около двадцати возглавлял Овидий Любовиков, фронтовик, в 17 лет ушедший на войну, бывший лейтенант разведроты, друг Василия Белова. Теперь этого человека нет в живых. Но в те годы он оказал добрую и незабываемую поддержку начинающему поэту Анатолию Гребневу.

С благодарностью вспоминает Анатолий и Владимира Ситникова, который возглавлял писательскую организацию Вятки не менее полутора десятков лет и тоже немало благоволил поэту... 28 июля 2010 года талантливому писателю Владимиру Ситникову исполнилось 80 лет.

Женился Анатолий на Галине через полтора года, в 1968 году, когда она училась на пятом курсе и в феврале приехала на зимние каникулы. Мне думается, что если бы не эта изумительная женщина подлинно русской душевной красоты и жертвенного величия – многотерпеливая Муза, то судьба поэта Гребнева сложилась бы однозначно по-иному. И как знать, может быть, не лучшим образом... Да и скорей всего бы так.

Сколько мы слышали примеров в жизни, когда талантливый человек не смог реализоваться, состояться только потому, что не нашёл надлежащей поддержки и понимания в кругу семьи, у своей супруги. Трудно сказать, в какой степени состоялся бы Лев Толстой, окажись у него в жёнах не Софья Андреевна, а какая-то другая женщина, или Фёдор Достоевский, если б не встретила его на его жизненном пути Анна Григорьевна. Без их жертвенного служения интересам своих мужей многое бы, наверное, не вышло из-под пера этих писателей... На одном крыле далеко не улетишь. Иметь таких сподвижниц в семейной жизни – великий дар Божий. Всё счастье человека от семьи, какая семья – такая у него будет и жизнь. В этом смысле Анатолию Григорьевичу тоже повезло несказанно.

Судьба поэта, к счастью, состоялась! Настоящая и большая. Сегодня, взирая на тот объём труда, какой заключает в себе поэзия Гребнева, можно сказать, что поэтом проделана огромная литературная, духовная и душевная работа. Однако я дерзко забегаю вперёд, вновь нарушая хронологию...

\* \* \*

В июне 1969 года Анатолия Гребнева, младшего лейтенанта медицинской службы запаса, призвали на двухмесячные сборы в УралВО, куда он отправился из Кичмы для обучения военно-полевой хирургии. Первый месяц – теоретических занятий – он провёл в Свердловске (ныне Екатеринбург), а на второй месяц – практику – напросился в свой студенческий город Пермь, в госпиталь для ветеранов Великой Отечественной войны.

В Перми он встретился с другом студенческих лет Виктором Широковым, тоже поэтом, работающим врачом-окулистом. В годы учёбы в мединституте Виктор Широков был президентом поэтического клуба. Обычно студенты,

члены клуба, собирались по вечерам в большом кабинете заведующего кафедрой фармакологии Гроссмана и читали свои стихи и стихи современных модных поэтов. Обсуждали, к примеру, повесть Василия Аксёнова «Коллеги», напечатанную в журнале «Юность». Аксёнов сам был медик, его повесть о врачах оказалась в тему, обсуждали её бурно, с восторгом: добро побеждает зло...

Почти ни один номер «Юности» тогда не выходил без стихов Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Роберта Рождественского. Эти четыре имени были постоянно на слуху. Позже появились стихи Анатолия Передреева, который Гребнева «по сердцу ударил», Станислава Куняева, Новеллы Матвеевой. Благодаря своей изумительной памяти на стихи Гребнев запоминал их множество. В 4-м студенческом общежитии, на бульваре Гагарина, случалось, девчонки специально приглашали Анатолия Гребнева к себе в комнату, и он читал им стихи часами, и свои и других поэтов... К примеру Сергея Есенина. Все они, общежитские-то, были в основном из сельской местности, и образная система стихов Есенина, передаваемые поэтом чувства и ощущения, чарующая красота природы – были для этих девчонок родными... Эти стихи просто завораживали их.

Мысль перебраться работать в Пермь уже гнездилась в голове Анатолия, он и с Галиной поделился ею, отправляясь на военные сборы, что будет искать в Перми работу и жильё. А Виктор Широков очень помог в этом; его мама, Галина Григорьевна, работала главным врачом в медсанчасти № 6 в Орджоникидзевском районе Перми, в микрорайоне Молодёжном. Сюда и устроился по завершении сборов Анатолий Гребнев хирургом-травматологом. Специализацию он проходил на базе хирургической медсанчасти № 7, на Гайве.

Молодой специалист Галина Гребнева, только что окончившая институт, получив диплом, приехала к мужу и тоже устроилась в 6-ю медсанчасть. Её сразу направили на

специализацию врачом-окулистом, в каком была у медсанчасти просто насущнейшая потребность.

Если с устройством на работу в Перми особых трудностей не возникло, то с жильём была тоже проблема; жить молодой семье пришлось – только представьте это – прямо в медсанчасти, в кабинете терапевта... Им предложили снять квартиру в микрорайоне Январском, в частном доме, клиника готова была оплачивать проживание. Но кто-то, мудрый человек, осторожно подсказал, что если они согласятся на это, получение квартиры может отодвинуться на неопределённое время, а если останутся жить при клинике и будут этим «мозолить» глаза начальству, то квартиру могут дать быстрее. Так они и поступили. Менее чем через полгода Гребневым как молодым специалистам (было в тогдашнем государстве такое положение) дали однукомнатную (правда, не новую) квартирку недалеко от медсанчасти, в том же микрорайоне Молодёжном, на ул. Волховской, где они поселились в январе 1970 года. Семейную жизнь после свадьбы начинали они с нуля, ничего у них не было, кроме книг. На книгах сидели, на чемоданах ели.

Пройдя специализацию, Анатолий Гребнев – теперь хирург-травматолог – таковым и работал в 6-й медсанчасти. Обслуживать ему пришлось огромную территорию: поликлинику Пермского домостроительного комбината (ПДК), Второй участок – поликлинику КБМаш, Кислотные дачи – поликлинику химзавода имени С. Орджоникидзе. На приёме иногда бывало за смену до 200 человек, три медсестры едва справлялись со своей работой: две трудились в перевязочной, третья заполняла документы.

Во время специализации в 7-й медсанчасти Гребнев познакомился там с Геннадием Ивановичем Астаховым – хирургом высшей категории. Работал тот в ведомственной больнице Камского речного пароходства, с плавсоставом, в микрорайоне Заозерье... Но время от времени они встреча-

лись на дежурствах в 7-й медсанчасти, где Гребневу приходилось дежурить несколько раз в месяц, как, впрочем, и Астахову, который здесь был главным дежурантом, есть в медицине такой термин, оказывается.

Родом Астахов был из Сызрани, окончил он Куйбышевский мединститут. Человек широкой души, в молодости – спортсмен, футболист, драчун. Они подружились. И думается, неспроста: это были родственные натуры по степени одарённости, темпераменту, характеру, по широте, даже по азарту и озорству. Играли, к примеру, в шахматы «на раздевание»: проиграл – снимаешь с себя один предмет одежды... Однажды таким образом они доигрались до трусов.

Астахов был хирург от Бога, виртуоз своего дела. Аппендиктомию (удаление воспалившегося аппендикса) проводил за 12 минут, разумеется, если не было осложняющих факторов. Девчонкам, зная, как они комплексуют от шрама на животе, делал разрез такой величины, чтоб только два пальца вошли и чтоб наложить при зашивании всего лишь два шва. Когда зарастало, шрамик становился совершенно незаметным.

Вот стихотворение Анатолия Гребнева «Хирурги», посвящённое Геннадию Ивановичу Астахову.

Как пахарь, вспахав десятину,  
не чуя ни ног и ни рук,  
расправил вспотевшую спину,  
закончив работу, хирург.  
Часы иль века пролетели –  
в расчёт это брать не резон:  
он сделал на крайнем пределе,  
что сделать бы смог только он...  
...Точней всех мудрейших на свете  
познавшие зло и добро,  
хирурги, вы тоже поэты,  
ведь скальпель похож на перо!  
Да есть ли ответственной тема  
в поэзии жизни самой:

бессмертная ваша поэма –  
любой исцелённый больной!  
Я знаю все ваши потери,  
побед упоительный пыл.  
Я счастлив, что я в подмастерьях  
у вас, мои друзья, ходил.  
А стоит в беде оказаться,  
по духу, по крови родня,  
хирургов великое братство,  
как прежде, поддержит меня...

Дружба, настоящая и верная, между Гребневым и Астаховым продолжалась до самой смерти Геннадия Ивановича, случившейся на 71-м году его жизни.

Геннадий Иванович Астахов, когда Гребнев познакомился с ним, писал кандидатскую диссертацию на очень актуальную тему, о перитонитах, и готовился уходить на повышение, заведующим хирургическим отделением 4-й медсанчасти, которая находилась в Мотовилихинском районе Перми и являлась клиникой медицинского института. На своё место Астахов и пригласил Гребнева. И в августе 1971 года Анатолий перешёл на работу в Заозерье, где трудился по ноябрь 1980 года. А степень занятости на этой работе была такова (мужики-то в речном пароходстве работали нехилые), что без особого труда позволяла ему совмещать поэтическое творчество с медицинскими обязанностями.

Надо отметить, что и в 6-й медсанчасти Гребневу и в Заозерской больнице, пока он там работал, благоволили. Ведь в это время он уже учится заочно в Литературном институте, ведёт активную творческую жизнь в литературной среде Перми, часто ездит с другими поэтами выступать по области на Днях литературы... И происходили накладки: из поездок он порой не успевает на работу к нужному времени. Случалось, в такие моменты заведующий сам проводил приём больных за Гребнева...

В феврале 1972 года, 10-го числа, родился сын Гриша, названный так в честь погибшего на войне отца Анатолия.

Отец, мне тебя не хватает,  
А то бы я славил житьё.  
Мой сын без тебя подрастает,  
Я дал ему имя твоё... («У отцовской могилы»).

К этой поре у поэта накопилось изрядное количество стихов, поэзия требовала выхода, нуждалась в квалифицированной оценке со стороны... И самое главное, что у Анатолия за эти годы не прервались поэтические связи с Пермью. Здесь его поддержал поэт с абсолютным слухом Владимир Радкевич<sup>22</sup>, с которым у Анатолия были самые дружеские отношения, здесь он дружил, как я уже сказал, с поэтом Виктором Широковым.

Сразу же после переезда в Пермь Анатолий пошёл в литературное объединение, которое вели Николай Домовитов, Борис Ширшов, Лев Кузьмин, последний особенно хвалил молодого поэта. А вскоре состоялся областной семинар для начинающих поэтов, которым руководили те же Н. Домовитов, Б. Ширшов, Л. Кузьмин. Поэтический дар А. Гребнева здесь был и замечен и отмечен.

В сборнике «Семицветье» (1970), составленном по итогам работы семинара, и в который включены произведения *семи* молодых авторов (отсюда и название), в том числе Ивана Лепина, Михаила Смородинова, Владимира Соболева<sup>23</sup>, Виктора Широкова, Наталии Чебыкиной, Нины Чер-

---

<sup>22</sup> Помню, при знакомстве, недужливо кособочась, Радкевич мне сказал: «Между прочим, в Литературной энциклопедии моя фамилия стоит сразу за Радищевым...» А в энциклопедию тогда абы кого не вносили.

<sup>23</sup> Владимир Соболев жил в то время в Соликамске, но родом он был не из Прикамья, стихи его по тем временам были, по мнению Гребнева, сильные. Впоследствии он уехал с Урала и след его затерялся.

нец, – у Гребнева оказалась самая большая подборка стихов. Этот сборник Лев Давыдычев, руководивший в то время писательской организацией, в апреле 1971 года повёз в Москву, там, в СП РСФСР, проходило заседание Совета по работе с молодыми литераторами, обсуждались сборники, изданные в провинции. И из всех авторов сборника «Семицветье» Давыдычев взял в эту поездку одного Гребнева. Жили в шикарной гостинице «Минск»...

Пермское «Семицветье» получило при обсуждении очень высокую оценку Марка Соболя, Сергея Орлова (заседание проходило под его председательством) и Алексея Смольникова и прогремело тогда на всю Россию как лучшее издание молодых поэтов провинции. На том обсуждении выступал поэт Дмитрий Ковалёв, преподаватель Литературного института. А Марк Соболев хвалил Гребнева за стихотворение, которое очень понравилось ему.

Запылала июльская просишь,  
закачалась река в берегах,  
золотые певучие косы  
зазвенели  
        в тяжёлых руках.  
Ой, цветы-первоцветы густые,  
вам теперь  
        головы не сносить!  
Хорошо,  
        что в ракетной России  
и вручную умеют кость.  
Точно в танце  
        медлительно-древнем,  
чуть качаясь, идут косари –  
словно к нам поразмяться,  
        сквозь время,  
вышли русские богатыри.  
Всех врагов с порубежья отбросив,  
сняв доспехи, оружие своё,  
разошлись –  
        позахватистой косы  
да покрепче витое косьё!  
Ходуном ходят медные плечи



«...Я думаю, что мы как комиссия по работе с молодыми можем сказать, что Гребнев уже созрел для первой книги. Я не берусь говорить о размерах, но ее нужно издать».

Поэт Д. Ковалёв:

«Гребнев мой студент, он учится в моем семинаре в Литературном институте.

Есть у Гребнева прекрасные строки:

“Нас куда-то несло и несло  
по местам, тишиною заросшим.  
Позади оставалось село,  
светлый бор и урёмные рощи...”

Оно очень естественно по дыханию. Я помню его еще по работе в семинаре. Тут очень точные, необходимые детали, этот мотоцикл сразу дает приметы современной деревни, чувствуется свежесть. Он деревенский парень. У него и получаются стихи о деревне. Он идет на какой-то народной, ключевой основе...

Вот здесь и надо копать глубже. Если будут издавать его книгу, нужно сделать так, чтобы это был Гребнев самобытный, без примесей».

Сергей Орлов:

«Я должен поблагодарить поэта Гребнева, он нам дал возможность всерьез поговорить о поэзии.

Разговор шёл требовательный и без всяких скидок. Все мы знаем, какое количество стихов пишется и печатается. Как трудно найти в этом мире поэзию и как радостно бывает, когда ее находишь.

Я хочу присоединиться к словам в адрес Гребнева, которые были здесь сказаны. Очень много поэтических находок, которые ставятся автору в заслугу. Словом, есть все, что делает поэта поэтом.

Я хочу подвести итоги нашего разговора. Меня радует, что мы оценили ваши достоинства и недостатки. Желаю вам успехов от всех нас на этом тяжелом и трудном поприще. Пока что это ваши первые радости, но будут и первые огорчения.

Мне кажется, нам надо записать, что мы рекомендуем издать сборник Гребнева.

Спасибо за внимание».

Мне думается, можно только мечтать, чтобы получить такое напутствие и благословение в самом начале творческого пути.

В том же 1971-м году Анатолий Гребнев с Борисом Бурыловым (тоже начинающий поэт из Перми) попадают на зональный (Урал и Западная Сибирь) семинар молодых литераторов. Проходил он в Магнитогорске и был посвящён теме рабочего класса. Запомнившиеся Гребневу участники семинара – Пётр Дедов, Римма Дышаленкова. Поэзию вели Борис Ручьёв (человек-легенда), Валентин Сорокин, Михаил Львов. После обсуждения стихов Анатолия Гребнева и здесь ведущие семинара рекомендовали его на первую самостоятельную книгу.

Примерно, в 1973 году в журнале «Урал» – в те годы очень авторитетном на литературных просторах России – у Гребнева вышла большая подборка стихов, предисловие к которой дал Владимир Радкевич.

В 1978 году «хирургиня» 7-й медсанчасти Болоцкая говорит Гребневу: «Ваши стихи читал на радио Игорь Дмитриев – артист из Ленинграда». Он был здесь с театром на гастролях, и когда у него брали интервью, то сказал, что в Перми открыл для себя поэта Гребнева.

Писалось в те годы Анатолию хорошо, легко. Он вспоминает, как выйдет из медсанчасти на улицу – а там берёзы над головой шумят-шелестят... «И стихи пёрли только так», – говорит он.

\* \* \*

В августе 1969 года в Пермь приехал на постоянное жительство талантливый поэт Николай Домовитов. Чело-

век уникальной судьбы: фронтовик, имеющий тяжёлые ранения, осуждённый по трагически знаменитой 58-й статье, по которой загремел прямо с госпитальной койки; после десятилетнего заключения в сталинских лагерях пять лет отработал на шахтах Донбасса: проходчиком, монтажником, побывал в завале. После разоблачения в 1956 году культа личности Сталина и реабилитации трудился в газете. В 1961 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Но, несмотря на перипетии судьбы, был он человеком весёлым, лёгким в общении.

Анатолий Гребнев и Николай Домовитов подружились, как говорится, мгновенно, Николай Фёдорович полюбил молодого весёлого поэта. Он-то, сам выпускник этого вуза, и посоветовал Гребневу поступить в Литературный институт, без этого «не быть ему поэтом». Он убеждал, что Литинститут поставит кругозор, даст широту виденья мира, круг знакомств и ни с чем не сравнимое общение, поможет на фоне других увидеть себя со стороны – даст всё то, без чего не может состояться поэт.

По совету своего друга Гребнев поступает в 1970 году в Литературный институт, на заочное отделение, где оказывается в семинаре упомянутого уже поэта Дмитрия Ковалёва. Дмитрий Михайлович был личностью выдающейся для своего времени. Фронтовик, человек настолько принципиальный, неподкупный и честный, что его побаивались даже «большие» писатели. Происходил он из рода староверов. Его очень уважал Александр Трифонович Твардовский, они поддерживали дружеские отношения, и когда Твардовский умер, то Дмитрий Ковалёв трагически тяжело переживал его смерть.

До какой степени доверял Дмитрий Михайлович своему студенту Гребневу, судите сами, если он дал ему прочесть письмо А. Солженицына 6-му съезду писателей СССР. От Дмитрия Ковалёва от первого услышал Анато-

лий Гребнев негативную оценку Октябрьской революции. Для того времени это была крамола неслыханная.

У Анатолия Гребнева у первого из всех, занимающихся в семинаре Дмитрия Михайловича Ковалёва, вышла в 1972 году книжка. Называлась она «Приволье». Предисловие к ней написал сам Дмитрий Михайлович под заголовком «Стихи, которым доверяешь». Писал он это предисловие, когда проходил лечение в больнице.

А попросил об этом Дмитрия Михайловича недавний его выпускник – поэт Иван Лепин, который после окончания Литинститута приехал в 1969 году в Пермь и работал здесь в книжном издательстве редактором (он и готовил к изданию первую книжку поэта), позже старшим редактором, а затем и заведующим редакцией художественной литературы. Под давлением партийной системы и, видимо, из-за недостатка принципиальности (а может быть, и мужества), он бывал человеком нередко противоречивым в своих поступках, приходилось ему и лукавить, и лицемерить. Уважали его поэтому, помнится, далеко не все. В конце 1970-х – начале 1980-х мы работали вместе в издательстве.

В общем-то, Иван Захарович Лепин оказался личностью трагической, жизнь у него с самого сиротского деревенского детства (а родился он в 1939 году) складывалась непросто... Отец погиб на Курской дуге, буквально рядом с родными местами. Перед битвой ему даже удалось повидаться с семьёй. А вскоре умерла и мать от военной голодухи... Воспитывался Ваня у старшей сестры... Уже после пятого класса он вынужден был поступить в ремесленное училище... Судьбу свою Ваня делал сам и очень нелегко.

В годы перестройки, когда рухнуло партийное ярмо, когда открылась возможность узнавать через печать сокрываемую доселе правду, когда хлынуло много неизвестной и шокирующей информации, убеждения его удивительно изменились в лучшую сторону, и коммунистической истории он трезво и смело давал теперь ту оценку, которой она за-

служивала. Да и терять ему после перенесённого инсульта, он понял, уже нечего. О-о, даже лёгкое дуновение смерти способно очень *изменить человека*. Очень! Теперь Иван Захарович нашёл в себе мужество пересмотреть, переоценить многие свои взгляды. Пережив глубокую внутреннюю драму, многое переосмыслив, он сильно изменился. И тут его – есть за что уважать.

Вот, к примеру, строчки из его пусть и запоздало критического стихотворения 1991 года, в котором говорится о генсеке Леониде Брежнев:

...Славословье шло рекою,  
И, попав в его струю,  
он строчил чужой рукою  
тетралогию свою.

Мне думается, он стал таким, каким был внутри, но до времени таил свою подлинность из страха перед беспощадной силой партийной власти, которой вынужден был прислуживать несколько лет даже в должности секретаря партбюро. Судить ли нам его за это? Не каждому дано быть героем или диссидентом. Тем более что у него был врождённый порок сердца.

Жизнь Ивана Лепина трагически оборвалась 17 июня 1992 года в одном из монастырей его родной Курской области, куда он приехал отдохнуть душой, поработать над задуманным произведением... Но эта тема требует совсем другого рассказа.

Когда у Гребнева книжка «Приволье» увидела свет и он привёз её в Москву и с благодарностью подарил своему учителю, Дмитрий Михайлович долго вертел сборник в руках и листал его, а потом сказал, что у него так издана была примерно лишь восьмая книга... Хотя книжка «Приволье» была и небольшая по объёму, всего 112 страниц, форматом 8,5 на 11 см, но издана десятитысячным тиражом и сделана на высоком полиграфическом уровне: с заставками внутри блока, твёрдая обложка в колленкоре, с суперобложкой, на

которой был изображён портрет автора. Оформляла её известный мастер книжной графики (очень красивая женщина!) Маргарита Вениаминовна Тарасова, много лет возглавлявшая в Пермском книжном издательстве редакцию художественного оформления, именно она возвела украшение пермской книги в непровинциальный ранг полиграфического искусства.

«Я открываю книгу молодого поэта – и уже первое стихотворение “Ночлег” волнует меня по-новому, западает в душу», – писал в своём предисловии Дмитрий Михайлович Ковалёв.

Окончил Анатолий Гребнев Литинститут в 1976 году, а в марте следующего, 1977 года Дмитрия Михайловича не стало. После поэт посвятит ему стихотворение «Учитель», где есть такие строчки:

Нам уроков твоих не забыть,  
Поникая в раздумье суровом:  
Видеть правду,  
Россию любить,  
И служить ей несуетным словом.

Такой закваской можно гордиться. Листая эту книжку сегодня, нахожу «этюды», которые со временем разовьются и превратятся в масштабную и многожанровую поэтическую картину, созданную Гребневым за десятилетия его творчества.

В Литературном институте Анатолий познакомился и подружился с поэтами Анатолием Передреевым, Станиславом Куняевым. Позже – с Николаем Дмитриевым.

Знакомство с Передреевым началось у Гребнева с экстравагантного признания. Случилось это в середине октября 1974 года в общежитии Литературного института во время сессии, которая подходила уже к своему завершению. Появившийся здесь Передреев искал поэтов из кавказских республик, стихи которых он переводил на русский

язык, он был, как говорится, на подсосе и хотел получить с них гонорар за свои переводы.

Анатолий Гребнев не без юмора поведал своему старшему тёзке (тот был с 1934 года), как однажды ехал на такси и прочёл водителю передреевское стихотворение:

И вот стою  
И погибаю  
Среди райцентровской грязи...  
Вот снова руку поднимаю,  
Вот подбегаю:  
– Подвези!

Шофёр берёт меня,  
Сажает... И т.д.

И таксист после этого не взял с него денег за провоз.

– Раз за мой счёт проехал, с тебя причитается... – пошутил Анатолий Передреев.

Вот с этой шутки тогда завязалась их дружба и... начался недельный загул. Но это поверхностное, а в действительности – Передреев почувствовал достойного собрата по поэзии. Они были оба одной души – крестьянской.

Околица, родная, что случилось?  
Окраина, куда нас занесло?  
И города из нас не получилось,  
И навсегда утрачено село.

Эти передреевские строки относились к ним обоим в равной степени.

Для Гребнева Анатолий Передреев – образ идеального поэта: по складу, по таланту, по жизни. Сегодня Анатолий Григорьевич вспоминает, что Передреев был необыкновенно обаятелен в общении, располагал к себе, удивительно доступный и общительный, без малейшей заносчивости, каковая нередко сопровождает талантливых людей, особенно в состоянии подшофе. А как он читал Есенина! С надрывом. Но это был тот надрыв, который передавал суть

есенинской поэзии, её душу. И свои стихи Передреев создавал душой.

Как сказал Сергей Агальцов, редактор книги А. Передреева «Лебедь у дороги»: «От стихов, бьющих по глазам нарочитой броскостью строк, активно воздействующих на слух, то есть рассчитанных на поверхностное зрительное или слуховое восприятие, стихи А. Передреева отличаются тем, что они адресованы душе и сердцу».

И в другом месте Сергей Агальцов говорит: «Анатолий Передреев и родственные ему по духу поэты в годы расцвета формальных критериев и оценок пошли по принципиально другому пути. Неудивительно, что на этом пути они потеряли тогда определённые круги читателей, недобрали популярности и известности, но зато не утратили главного – поэтической и гражданской честности. Как грустно, что читатели, воспитанные на шумной поэзии, часто с равнодушием и нечувкостью и доселе переворачивают страницы книг, отмеченных знаком истинной поэзии!»

Разве слова С. Агальцова не относятся и к Анатолию Гребневу? И эта родственность по духу объединяет, несомненно, Гребнева и Передреева, что и лежало в основе их дружбы.

Но вернёмся к первому знакомству двух Анатолиев.

При отъезде Гребнева в Москву на сессию жена его вручила супругу двести рублей на покупку ему зимнего пальто. В Перми 1974 года купить что-либо стоящее было весьма затруднительно. Даже самые простые холодильники того времени – «Бирюсу» – покупать ездили в Москву. Сам грешен. Помню, как мне рассказывали, что в очереди на запись за коврами на пермском стадионе «Ленинского комсомола» задавили в те годы старушку... И трагично, и анекдотично – фарс, короче, брежневской эпохи.

Когда поэты оказались в ЦДЛ (Центральный дом литератора), то пошли в ход, конечно же, деньги, предназначенные на покупку пальто, образ которого в этот вечер стал

предметом застольных шуток. За столом собралась компания: однокурсники Гребнева Николай Полотнянко (ныне главный редактор «Литературного Ульяновска») и Александр Черевченко, Анатолий Передреев, Вадим Кожин с женой. Гребнев заказывал на всех. И в определённые моменты Полотнянко констатировал, какую часть пальто сейчас они пропивают: воротник, правый рукав, полы, хлястик и так далее...

Черевченко начинал учиться в Литинституте вместе с Передреевым, но доучивался с Гребневым. Он был из Харькова, сыном генерала, на четвёртом курсе оставил учёбу и уехал в Магадан делать биографию, где проработал несколько лет журналистом, мотаясь по колымскому краю. Поэтому он был талантливым, его приняли в Союз писателей по журнальной публикации, и когда он вернулся в Литинститут и восстановился на четвёртый курс, то доучивался уже членом СП.

Приняли «на грудь» тогда изрядно. Передреев пригласил Гребнева к себе домой. При выходе из ЦДЛ Передреев споткнулся и сильно ударился прямо лицом в колонну, в ребро вертикальных желобков, которые называют в архитектуре – каннелюры. Он рассек лоб от переносицы и на всю высоту. Гребнев пришёл в ужас, увидев, как обильно хлынула кровь поэта. Работая в то время хирургом, Гребнев не растерялся, он мгновенно пальцами надавил по краям раны и сильно сжал её. Получилось это скорее машинально. И вот, что удивительно для него самого до сих пор, – кровь остановилась, будто он её закрыл...

«Когда выходят поэты, колонны надо оборачивать ватой!» – возмущённо бросил он назад реплику.

Приехали к Передрееву домой. Жена его, Шема, чеченка (уехав из села в Саратовской области, семья Передреевых жила в Грозном, в Москве Анатолий Константинович поселился уже после учёбы в Литературном институте),

говорит ему, что обнаружила у него заначку пятьсот рублей и купила себе шубу...

Но не это огорчило Анатолия Передреева, а то, что в эти дни его загула приезжали в гости его родные братья, очень ждали Анатолия, желая повидаться и преподнести подарки, и не дождались, уехали...

Я поинтересовался, не нагорело ли тогда Гребневу по возвращении в Пермь за пальто, принесённое в жертву Бахусу? Обошлось.

На другой день Передреев, не желая оставаться в долгу, раздобыл денег и всех угостил в ресторане.

\* \* \*

Читал Анатолий Гребнев постоянно, с неиссякаемым интересом и много. Причём память у него была феноменальная, фотографическая. Он до сих пор помнит множество чужих стихов, прочитанных когда-то давно. При случае цитирует их, и в ответ на моё иногда невольное вырывающееся изумление всегда говорит, что хорошие стихи – они сами запоминаются. Это тем более изумительно, что некоторые претенциозные авторы, любящие первенствовать с потугами на гениальность, не знают наизусть и трёх своих стихотворений, не говоря уж о чужих стихах...

Перефразируя известные слова классика, можно сказать: у поэта должно быть поэтическим всё: и лицо, и одежда, и душа, и мысли... И поступки, конечно.

В 1976 году вышло постановление ЦК КПСС о работе с молодыми. В июне в Перми состоялся семинар молодых литераторов зоны Урала и Западной Сибири. На этом семинаре, кстати сказать, и познакомился Гребнев с замечательным прозаиком из Оренбурга Петром Красновым. Секцию поэзии вели Вадим Кузнецов – заведующий отделом поэзии в издательстве «Молодая гвардия» – и Геннадий Серебряков. По результатам работы секции была особо от-

мечена поэзия Анатолия Гребнева и он был рекомендован уже в Союз писателей. Но по условиям того времени с одной книжкой в Союз попасть было сложно...

Дипломную работу Гребнева в Литинституте рекомендовали к изданию в «Современнике» или в «Молодой гвардии». Анатолий выбрал «Молодую гвардию», где отделом поэзии заведовал уже знакомый ему Вадим Кузнецов (он был всего на пять лет постарше Анатолия, с 1936 года рождения). Ему и отнёс он свои стихи. Проходит время, Гребнев отправляется к Вадиму Кузнецову, чтобы узнать результат. И тут выясняется, что Кузнецов умудрился потерять рукопись, забыл в такси в минуты увеселения... Гребнев, естественно, остолбенел.

– Ты водку пьёшь? – обескуражил он Гребнева прямым вопросом.

– Ну, пью, – признался подавленно тот.

– Вот и я пью. Оставил я твою рукопись в такси. Где её теперь искать?... Вас двести двадцать гениев, и всех надо издавать, – оправдывался в досаде Кузнецов.

Он только что вернулся из одной южной республики, с семинара молодых писателей нацменшинств, где было собрано и объявлено гениями сразу аж 200 человек... Тут невольно помутится разум. Интересно, где эти гении теперь, в наши дни?..

Пришлось Анатолию засесть за пишущую машинку в Литинституте, и штурмовой работой в два дня он по памяти (выручила, матушка!) восстановил всю рукопись. Компоновать, выстраивать композиционно сборник пришлось тоже сходу, выстелив пол редакционной комнаты поэтическими страницами, тасуя их. И в этот момент вошла какая-то комиссия, которая буквально остолбенела, настолько была поражена такой новаторской творческой работой...

Поскольку Вадима Кузнецова, видимо, всё-таки мучило чувство вины перед Гребневым за утерянную рукопись, то книга «Зелёный колокол» (96 стр.) вышла в издательстве

«Молодая гвардия» по тем временам очень быстро. Уже в 1978 году она увидела свет.

Но прежде этого в 1977 году в Пермском книжном издательстве, где главным редактором к той поре стал тот самый Борис Гринблат, который редактировал газету «Медик Урала», у Гребнева была издана ещё одна симпатичная книжка стихов «Родословная». Помогло, видимо, постановление-то ЦК КПСС о работе с молодыми. И по этой книге поэт был уже принят в Союз писателей СССР. Произошло это событие в 1978 году.

Вообще надо отметить, что Гринблат очень благоволил Гребневу и делал всё, чтобы помочь поэту обрести своё имя, творческий вес. Одно время он советовал ему даже уехать жить в Москву – здесь, в провинции, имя не сделаешь. Или, по крайней мере, советовал завести в Москве авторитетного влиятельного друга. Как это сделал в своё время Виктор Астафьев в лице критика Александра Макарова, ныне почти забытого, который в те годы помог таланту самородного писателя обрести известность, а затем и славу. Всё-таки Москва есть Москва, и возможностей творческих, что говорить, там побольше. Широкую известность можно получить, засветившись именно в столице. Хотя и потерять себя там – оч-чень легко.

Гребнев не уехал в Москву. Но судьба послала ему замечательного друга, земляка, талантливое и известного писателя Владимира Крупина, живущего в Москве, который действительно немало ему покровительствовал и постепенно ввёл Анатолия в круг таких своих друзей, как Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир Личутин, Виктор Лихоносов. Если масштаб таланта зависит от масштаба души, а это, как показывают наблюдения, именно так, то надо стремиться наращивать душу. И общение с подобными масштабными личностями – это мощнейший катализатор для творческого роста, наполнения души, расширения мировоззренческого горизонта.

Эта плеяда писателей, которых столичная критика уни-  
зительно (и почти брезгливо) окрестила деревенщиками,  
подспудным влиянием прививала особое, считает Анато-  
лий, требовательное отношение к слову как к святому...

Недаром родимое Слово,  
Живое его волшебство –  
Души всенародной основа,  
Залог и начало всего («Слово»).

Помнится, Илью Муромца – главного былинного за-  
щитника земли русской – киевский князь Владимир Крас-  
ное Солнышко иногда высокомерно величал деревенщи-  
ной, а когда беда пристигала – в пояс ему кланялся, и у не-  
го просил защиты и помощи...

Упоминаемый в нашей работе Владимир Ситников пи-  
шет очень точно в своей книжке «Переделкинские встречи»  
на страницах 32-33: «Позднее мы поймём, что обойма пи-  
сателей-деревенщиков, просто хороших русских писателей-  
реалистов (Белов, Астафьев, Евгений Носов, Шукшин,  
Виктор Лихоносов, Фёдор Абрамов), дала новый стимул  
литературе, сделав её необыкновенно привлекательной.  
Периферия с её невыдуманными героями и проблемами так  
мощно шагнула в столицу, что об инфантильных мальчиках  
забыли<sup>24</sup>. Реалистические романы и повести, глубокая пуб-  
лицистика 70-х годов сделали великое дело – приобщили  
нас к литературе, которая подняла самосознание, сочув-  
ствие к простому человеку, отучила от показухи».

Здесь будет очень уместно процитировать одно замеча-  
тельное высказывание талантливого критика Юрия Селез-  
нёва:

«В известном смысле вся человеческая культура, от ис-  
токов формирования образного мышления и до современ-  
ного сознания человека, от первых его представлений о

---

<sup>24</sup> Имеются ввиду герои произведений, создаваемых до писате-  
лей-деревенщиков.

добре и зле и до величайших его духовных, нравственных, философских прозрений и обобщений, – в основе своей есть «деревенская», «земледельческая» культура Земли во всём единстве взаимообусловленных проявлений этого понятия. И как бы она ни преобразовывалась, как бы ни «техничизировалась», по природе своей всякая истинная культура остаётся и останется «земляной», и в этом смысле – «деревенской». Иной она быть не может, пока сам человек остаётся человеком»<sup>25</sup>.

\* \* \*

Однажды по наивности своей деревенской и по простоте душевной, ещё совсем не искушённый в подобных щепетильных вопросах, Гребнев захотел сделать приятное своему благодетелю Гринблату. В букинистическом магазине у Владимира Михайловича Чайникова<sup>26</sup>, приятеля своего и директора этого магазина, поэт увидел книжку «Вечный жид», в которую были собраны произведения четырёх авторов, с далеко неглупым предисловием Максима Горького, купил её и простодушно решил из благородных побуждений преподнести Борису Давыдовичу, одесскому еврей. Он почему-то искренне и наивно думал, что тот обрадуется такому подарку.

Гринблат, глянув на неё, вспыхнул, изменился в лице, побагровел, резко отодвинул в сторону и сказал сквозь зубы: «Мне, Толя, это не надо!»

Я помню, Гринблат не любил, чтоб кто-то делал какие-то акценты на его национальной принадлежности. Будь на

---

<sup>25</sup> Цитируется по книге: Николай Кузин. Спутники извечные мои... Екатеринбург, 2008. С.152.

<sup>26</sup> Приобрести хорошие книги в те годы было невероятно трудно, и директор букинистического В.М. Чайников сплотил вокруг себя, по словам Гребнева, мужской клуб настоящих любителей книги.

месте Толи кто-то другой, может быть, на этом и кончилось бы навсегда покровительство Гринблата. Но Гребнева он знал давно и хорошо, а потому никакой обиды на его простодушный поступок не осталось, рассеялась постепенно.

Борис Давыдович Гринблат родился 20 мая 1928 года, умер 26 ноября 1984 года. В тот день мне позвонила директор Лариса Крамаренко (в издательстве я уже не работал) и сообщила: в 11 часов утра умер Гринблат. Это для меня оказалось большой неожиданностью.

Было ему всего лишь 56 лет. Сейчас, когда самому мне перевалило за 60, я понимаю, как это мало. У Бориса Давыдовича отказали почки. Умер в реанимации. Очень запустил он себя в вопросах здоровья, сказала Лариса. И поведала, что был звонок из обкома КПСС в больницу: сделать всё возможное и невозможное... Должность главного редактора книжного издательства была номенклатурой обкома. Но когда приходит смерть, то, видимо, даже звонок из обкома уже не может ничего изменить в земных наших сроках.

В последний путь Бориса Давыдовича я не провожал. К моменту моего ухода из издательства отношения у нас с главным редактором испортились... И, пожалуй, нелегко было бы присутствовать на похоронах человека, уважение к которому оказалось внутри тебя изуродованным.

Прошли годы, теперь, когда и самому пора уже готовиться в этот самый *путь*, смотришь на всё другими глазами. Да и следует признаться, что своими рассказами о Гринблате Анатолий Гребнев восстановил, выправил в моей душе авторитет Бориса Давыдовича. Теперь и я бываю на его могиле. Всё-таки, по большому счёту, есть за что и мне помянуть этого человека добрым словом. Когда я переходил из нашего классического университета на работу в издательство (а было это связано с конфликтными обстоятельствами и острыми стычками с секретарём партбюро

факультета Ксенией Веселухиной – репатрианткой из Шанхая, может, поэтому она была праведнее самого ЦК КПСС), Гринблат в устройстве моей судьбы принял тогда самое активное и горячее участие. А работа в издательстве, общение с творческими людьми дали мне очень много полезного в овладении писательской профессией.

Я заметил, как смерть мгновенно меняет наше отношение к человеку: сделанное им *уже в другое измерение переходит тут же*. Мёртвый говорит с живыми уже на другом языке, с правом быть выслушанным и без права быть огульно охаянным. Неспроста же родилась ещё в глубокой древности, в Римской империи, поговорка: «О мёртвых хощее или ничего – *de mortuis aut bene, aut nihil*».

11 октября 2008 года, в Покровскую родительскую субботу, обходя могилы наших писателей и поминая их, мы пришли с Гребневым и на могилу Гринבלата. Видно, что в этом году на его могиле за всё лето никто не побывал: не прибрана, позаросла сорной травой. И Гребнев высказал предположение, что жена Бориса Давыдовича, Валентина, видимо, тоже умерла. Впрочем, это и не удивительно, ей было бы уже очень близко к восьмидесяти. Анатолий знал её, прекрасную русскую женщину, добрую, отзывчивую, гостеприимную.

Выше коснувшись щепетильной в нынешних условиях национальной темы, доводимой порой буквально до уродливого абсурда, когда прозвучавшее в устах русского человека слово *еврей* воспринимается уже как антисемитизм и почти призыв к погромам, а слово *русский* как махровый национализм, Гребнев сказал, что понять Гринבלата в истории с «Вечным жидом» можно было. И поведал один давний случай, когда на себе испытал, что значит почувствовать себя в шкуре еврея и ощутить к себе национальную неприязнь.

А дело было так. Кто знает Анатолия с молодости его, тот, конечно, помнит, какие у него были кудри – шапка

тёмная. Или, как говорят у него на родине, в Чистополье, – коч. Однажды эти кудри оказали ему плохую услугу. Идёт он вечером по криминальной Гайве, где тогда жил, и подходят к нему прицельно два молодца, видят, что кудрявый и в очках, неожиданно задают вопрос, ничего доброго Гребневу не обещающий: «Ты еврей?»

Было это в тот момент, когда директор расположенного на Гайве завода «Камкабель» уехал на историческую родину, в Израиль. Случай для того времени ещё редкий, скандальный, на заводчан, помню, он произвёл самое шокирующее действие. Всю Гайву взбудоражил (в те годы я как раз там жил, работал, учился). Говорили о нём горячо и много. Патриоты завода (работяги – что с них взять) сочли это предательством, считая, что никаким зовом крови такая подлость не покрывается...

Прекрасно понимая, что сейчас его могут ни с того, ни с сего надёжно отделать, Гребнев ответил: «Нет!» Видимо, категоричность ответа пошатнула их уверенность. Не тронули. Ушли.

Слушая сегодня рассказ Гребнева, я спрашиваю себя: «А откуда возникли в России, не из воздуха же, основания для такого именно враждебного вопроса: “Ты еврей?” Нет ответа. Или есть?..» Дальше молчание. Тема запретная!

В жизнь писательской организации Перми тех лет поэт Гребнев сразу влился без проблем, человек талантливый, коммуникабельный и весёлый, он легко сошёлся и подружился со многими писателями, но особенно – с Иваном Зыряновым, Николаем Домовитовым, Иваном Байгуловым, Михаилом Голубковым, Иваном Лепиным, Николаем Вагнером, Львом Кузьминым. Раньше того – с Радкевичем.

Лев Кузьмин в те годы был занят уже исключительно творческим трудом, ушёл, как принято говорить в писательской среде, «на вольные хлеба» сразу, как только в 1969 году был принят в Союз писателей. Но жил сказочник по-прежнему в Голованово, где до того работал на стройке.

Это далеко от центра Перми, на левом берегу Чусовой, недалеко от её впадения в Каму, но опять же далеко – от творческой жизни писательской организации. Не наездишься через весь город, тем более что с транспортом в те времена было невероятно трудно. А с чем было легко-то?..

Руководивший с 1972 года писательской организацией Перми Олег Константинович Селянкин, заслуженный ветеран-фронтовик (капитан второго ранга – кавторанг) и мудрый хозяйственник, который как никто другой заботился и об укреплении писательской организации и об улучшении быта писателей (надо отдать ему за это дань глубочайшего уважения!), выхлопотал у властей для Льва Кузьмина новую трёхкомнатную квартиру на улице Луначарского, 94 (рядом с Универсамом). А двухкомнатную головановскую квартиру Кузьмина добился передать – тогда ещё только *рекомендованному* в Союз писателей – поэту Анатолию Гребневу. Фронтовик глядел в корень.

Анатолий вспоминает, как ремонтировали они это жильё. Писательский кабинет Льва Кузьмина шесть (!) раз белили профессиональные маляры, и всё равно проступали сквозь побелку на потолке вскоре жёлтые пятна – так был пропитан кабинет ядовитым творческим дымом сигарет сказочника...

При теперешних строительных материалах и технологических возможностях эту проблему можно было бы решить одним взмахом энного числа денежных купюр.

Отремонтировав квартиру, Гребневы сразу же, не въезжая в оную, обменяли её на равноценную поближе к работе, и в июне 1976 года переехали из своей однокомнатной квартирки на улице Волховской на правый берег Камы, в посёлок Гайва, на улицу маршала Толбухина, дом номер 12, в двухкомнатную квартиру на первом этаже. Когда переезжали, одних книг было несколько десятков мешков. И соседи по квартире на улице Волховской с изумлением и завистью говорили, видя мешки: «Надо же! Недолго и по-

жили, а такое богатство нажили!» Они не могли подумать и поверить, что в мешках книги.

\* \* \*

Живя на Гайве, а работая в Заозерье, в больнице Камского речного пароходства, Гребнев чувствовал себя прекрасно и комфортно, работа, как я уже отмечал, была необременительна и не мешала поэтическому творчеству. Но Олег Селянкин советовал Анатолию Гребневу, теперь уже принятому в Союз писателей, перебраться с Гайвы в город. Он убедил поэта, что ему, талантливому человеку, нужно быть поближе к писательской организации, к центру творческой жизни. И хотя переезжать Гребневу никуда не хотелось, но прислушался он к мудрому совету и подал заявление на постановку его в очередь на квартиру.

Когда писательской организации выделили в 1980 году очередную квартиру, то получать её должен был поэт Алексей Решетов, который жил тогда в городе Березники, но уже был приглашён на жительство в Пермь и готовился к переезду. Смотреть квартиру он прибыл в Пермь с матерью, Ниной Вадимовной. Место им на улице Революции в доме № 4, вблизи Егошинского лога, но вдали от транспортных маршрутов: до ближайшей автобусной остановки был целый километр – не понравилось. От квартиры – трёхкомнатной и в кирпичном доме, правда, с очень уж маленькой кухней и тесной прихожей – они отказались<sup>27</sup>. А поскольку следующим в очереди числился Анатолий Гребнев, то ему и предложили жильё. Гребневы приехали, квартиру посмотрели, подумали, посоветовались и согласились.

---

<sup>27</sup> Этот отказ оказался дальновидным: в 1982 году А. Решетов получил квартиру в самом центре Перми, в доме по ул. «25 Октября», 22 б, кв. 16, на пересечении с ул. Кирова. Ныне этот дом помечен замечательной мемориальной доской работы художника Равиля Исмагилова.

20 августа 1980 года они в эту квартиру вселились.

Ездить с улицы Революции на прежнюю работу: Анатолию – в Заозерье (по сути, в пригород), Галине – на Молодёжную, оказалось мучительно далеко, времени на дороге терялось неоправданно много, автобусная давка утомляла и изводила больше, чем сама работа. Гребнев задумался о перемене места работы.

И вспомнил про своего студенческого друга, однокурсника-земляка Юрия Александровича Сафронова, который в ту пору был уже главным врачом 4-й областной психиатрической больницы, расположенной в деревне Байболовка. Встретились, поговорили. Просто на счастье там оказалась свободной ставка хирурга, и Юрий Александрович принял Гребнева на работу. Запись в трудовой книжке появилась 25 ноября 1980 года, а работать, по сути, начал он только в марте 1981 года... Произошло, если начать издавека, вот что.

В 1980 году в Перми выходит книга стихов Гребнева «Круговорот». Редактором её был Борис Зеленин, очень разносторонне одарённый человек с великолепным и тонким чутьём слова. Ровесник Гребнева, он входил в круг его пермских друзей-писателей и как никто другой понимал и чувствовал психологию и эстетику поэта, его поколения. Борис Павлович Зеленин редактировал и книги Ивана Байгулова, Михаила Голубкова.

В этом же году группа пермских писателей отправилась в романтическую поездку на Тянь-Шань, на китайскую границу, с выступлениями и творческими встречами на пограничных заставах, где немало служило ребят из Пермской области. До сих пор я с тоской и завистью вспоминаю тогдашнюю их поездку. Мне так хотелось побывать там, где сам отслужил почти три года...

Работал я тогда уже в книжном издательстве и занимался в литературном объединении при писательской организации у Льва Кузьмина. Просился у отца-руководителя

литобъединения, но меня не взяли, не полагалось, в бригаду были включены только члены Союза писателей СССР (даже из них не все желающие попали в ту командировку). А мне с несколькими газетными публикациями это членство тогда и во сне не снилось. До него предстояло ещё овладеть в какой-то степени мастерством, что-то написать, издать как минимум пару книг на приёмном уровне...

В той поездке у Анатолия Гребнева обострилась язва желудка, да так, что по возвращении домой дело обрело самый критический оборот. Я видел своими глазами, как в кабинете Олега Селянкина Толя, бывало, встав на колени, наваливался животом на край сидения дивана, изнемогая от боли. Как он сегодня говорит – делал «пушку», так называется у язвенников этот приём. Язва была прободная. (Тут невольно вспоминается, что дед его по матери, Антон Ефимович, умер в 1943 году от прободной язвы). Но делать операцию было нельзя. Терапевты отказывались уже его лечить. Боялись, что «коньки откинёт»... А отвечать кому хочется?.. Тем более в те годы, тем более – за врача.

Хирург Геннадий Иванович Астахов «вытянул» друга с того света медикаментозным способом. А лекарства в те годы, надо заметить, были в страшном дефиците. Два раза в день – утром-вечером – он, не считаясь со временем, приезжал на своём «Москвиче» к Гребневу в больницу, где тот лежал в отдельной палате, и делал ему специальные капельницы, в состав которых входило до двенадцати компонентов... Помните:

А стоит в беде оказаться,  
по духу, по крови родня,  
хирургов великое братство,  
как прежде, поддержит меня...

И с четвёртого дня началось постепенное облегчение... Вот из-за этой язвы Гребнев и не мог долго приступить к работе в Байболовке.

В Байболовской больнице одним из отделений заведовал врач-психиатр Николай Васильевич Гребнев, двоюродный брат по матери Анатолия Гребнева (ещё один вятский!). В 1981 году Николай Васильевич перешёл работать в наркологическое отделение, здесь же, в Байболовке, а хирург Анатолий Григорьевич 30 мая 1981 года занял его место заведующего и, пройдя специализацию, переквалифицировался в психиатра. Рассказывая об этом, Анатолий обронил, что его Бог вёл – попал он работать в психиатрию, да ещё в такое местечко... Невозможно даже предположить, как другую медицинскую квалификацию и в другом месте удалось бы ему совместить с поэтическим творчеством.

*Нам не дано предугадать, какие условия и для каких будущих событий возникают в той действительности, в которой мы живём в настоящий момент.* И только когда проходят годы и мы окидываем мысленным взором свой жизненный путь, то начинаем догадываться о некоей промыслительности звеньев в цепи обстоятельств, где нет случайных сцеплений, но *всё связано прочной внутренней логикой и поступков наших и устремлений нашей души.*

В 1984 году в московском издательстве «Молодая гвардия» у Анатолия Гребнева выходит сборник стихов «Задевая за листья и звёзды». В следующем году объёмный сборник издаётся в Перми – «Берёза. Иволга. Звезда». В 1988 году появляются сразу две книги стихов: одна в Перми – «Черёмуховый холод», другая в московском издательстве «Современник» – «Чистополье». Урожайным на книги оказался и 1991 год, были изданы: в Перми большой сборник «Возвращение» и в московском издательстве «Советский писатель» (почитаемом среди писателей за самое престижное) – «Храм», тиражом аж в 25 тысяч экземпляров, фантастика! Если смотреть из сегодняшней «эпохи» однотысячных, полутысячных, а то и меньших тиражей. Эта книга чудом вышла в год, когда уже всё рушилось и разваливалось, как на картине Карла Брюллова «Последний день

Помпеи». Издана она была Фондом славянской письменности и культуры. Печатали её аж в Кишинёве. А в Пермь «Храм» доставили бескорыстными заботами благородного предпринимателя Игоря Васильева. Из Кишинёва до Перми всего-то 6 тонн везли аж на «КамАЗе», другой возможности на тот момент не оказалось. И ни копейки за это Игорь Васильев не взял с Гребнева. Ну как за такого человека не молиться!?

В то время мне довелось какой-то период руководить городским творческим клубом «Лукоморье», и по инициативе Николая Вагнера мы под эгидой «Лукоморья» провели 12 ноября 1991 года в актовом зале писательской организации посвящённый этой книге литературно-музыкальный благотворительный вечер «Храм». Стихи о России, её многострадальном народе, о вере, любви и надежде, как значилось в огромной, 85 на 60 см, афише<sup>28</sup>, читали поэт Анатолий Гребнев и народный артист России Виктор Сайтов. А произведения русских композиторов прозвучали тогда в исполнении вокального дуэта Валентины Волковой и Тamarы Целебровской, регента кафедрального Святотроицкого собора Перми.

Ну а далее был четырёхлетний «перестроечный» перерыв. И только в 1995 году увидела свет следующая книжка «Колокольчика вятского эхо», изданная в Кирове объёмом в 320 страниц и тиражом 3 тысячи экземпляров. Надо с печалью заметить, что с 1991 года в Перми Анатолий Гребнев не издавался аж до 2003 года, пока не увидела свет книга стихов – «Берег Родины», тиражом всего 500 экземпляров. А следующая книга в Перми была издана только в 2008 году, это избранные стихи и поэмы и тоже под названием «Берег Родины». И появилась эта книга исключительно благодаря участию и хлопотам тогдашнего руководителя нашей писательской организации Татьяны Фёдоровны Со-

---

<sup>28</sup> В 1990-х годах афишки постыдно скукожились на долгое время до размера листа формата А4.

коловой. Как я сейчас шучу: «Теперь у тебя, Толя, два берега – левый и правый, а это уже – **русло!**» Вот, кстати, чем не название для следующего сборника? На сегодня Гребнев автор 15 книг. Но, как он скорбно говорит, имея ввиду, что в Перми издаётся исключительно редко: «Я, по сути, потерял здесь своих читателей».

\* \* \*

Как уже отмечалось, частушечная деревенская атмосфера, дух частушки, её искромётное содержание, отклик на самые глубинные чувства человека оказали огромное влияние на формирование Гребнева как поэта. Конечно, об этом знал его друг Сергей Трушников, редактор Пермской областной газеты «Звезда», ныне тоже член Союза писателей России, много полезного делающий для писательской организации, сохранивший литературное приложение «Лукоморье» и поддерживающий коллег публикациями в газете. И вот летом 1991 года Сергей Васильевич предложил Гребневу стать ведущим конкурса частушки, который газета готова объявить и провести, если он согласится. Анатолий Гребнев согласился. Конкурс был объявлен. Гребнев предпослал ему небольшую статью, в которой поразмышлял о частушке, её значении в народной жизни, для запала привёл с десятков разных по содержанию частушек. Газета открыла рубрику «Конкурс частушки. Ведёт поэт А. Гребнев».

И Сергей Васильевич Трушников – газетный волк – безошибочно определил историческую точку народного настроения «талонного» времени: обнищания, безысходности, всеохватного беспредела, жажды отдушины, – каковой и явился этот конкурс для многих и многих наших граждан, истерзанных разрухой, перестроечной жизнью.

По талонам – горькое,

По талонам – сладкое.

До чего нас довела  
Голова с заплаткою!

Ну как тут не умилишься тонким двойным смыслом последней строки: и переносным, и прямым – у Михаила Горбачёва на голове было огромное родимое пятно, действительно похожее очень на «заплатку».

Мамка выкупила мыло,  
Кое-что себе помыла.  
Мне головку, папе кончик –  
Вот и кончился талончик!

Сейчас такой конкурс, пожалуй, имел бы лишь жалкое подобие того, что произошло тогда. Народ откликнулся, да как: частушки пошли потоком, их слали письмами, бандеролями со всех концов Советского Союза, от беспомощных и неуклюжих авторских попыток до народных шедевров. Поэт Гребнев, назвавший после этот конкурс «настоящим частушечным университетом», едва успевал всё прочитывать, отбирал лучшее, оригинальное, остроумное, талантливое, поэтическое, юмористическое, злободневное и публиковал в газете. Конкурс, продемонстрировав «необъятный частушечный эпос», продолжался четыре месяца, но за это время он получил в народе такую широкую популярность, что даже подписка на газету заметно подскочила, тираж её увеличился. Субботние выпуски газеты, в которых печатались внушительные подборки конкурсных частушек, вызывали живейший интерес не только у подписчиков, но выпуски эти прочитывала, можно сказать, вся область.

Разве омертвело сегодня содержание, к примеру, такой частушки?

Перестройка, перестройка –  
Год за годом тянется.  
Перестройщики уйдут,  
А бардак останется.

Или:

Проводили референдум,  
Опросили весь народ,  
А когда узнали мнение –  
Сделали наоборот.

Шесть с лишним тысяч почтовых отправлений пришло в редакцию за это время. В декабре 1991 года были подведены итоги конкурса. И точку в нём решено было поставить во Дворце имени Ф. Дзержинского при самой возможно широкой публичности. Директором дворца был тогда Евгений Соломенный, ныне доцент Пермского института культуры. Людей на этот вечер собралось столько, что всех желающих дворец и вместить не смог. Даже нескольких друзей-писателей поэт с трудом сумел провести через служебный вход.

Победителей конкурса ждала награда: за первое, второе и третье места им вручались гармошки. За этими гармошками Гребнев специально ездил в Кировскую область в посёлок Ганино, где в то время ещё существовала знаменитая гармонная фабрика. Он закупил их пять штук. И гармошки были не ширпотреб, а выборные.

Забегая вперёд, скажу, что одну из них Гребнев подарил своему хорошему другу поэту Валерию Возженникову; одну оставил себе, естественно, и она до сего дня веселит слух всякого человека, умеющего радоваться живому гармонному звуку, извлекаемому виртуозной игрой поэта Гребнева.

Ну а три гармошки, как и планировалось, пошли в качестве призов победителям конкурса. Вручали их в торжественной обстановке редактор народной газеты Прикамья «Звезда» Сергей Трушников и ведущий конкурса частушки поэт Анатолий Гребнев.

Про деревню написали

Двадцать два писателя,  
А в деревне – два яйца,  
И те у председателя!

У милёночка ограда  
Из двенадцати жердей,  
У милёночка скотины –  
Таракан да воробей!

Мы с подруженькой сидели,  
Одну думу думали:  
Двух товарищей пустили,  
Огонёк задунули.

Сини глазки не отмоешь,  
Алы губки не сотрёшь,  
Мой характер не узнаешь,  
Пока замуж не возьмёшь!

Окончательно узнала,  
Что милёнок изменил:  
По его игре запела,  
Он игру переменял!

Об этом конкурсе хорошо отозвались тогда братья Заволокины, знатоки и мастера-исполнители частушки под гармошку, и писатель Виктор Астафьев.

По результатам конкурса был издан в 1992 году 60-тысячным (!) тиражом сборник «Ты играй, гармонь моя!», оформленный художником-графиком Маргаритой Тарасовой, в который вошли лучшие частушки конкурса. Таким образом, частушки вернулись к тому, кто их создал, – к народу. Без ложной скромности признаюсь, мне было приятно, что в тот сборник включена и моя авторская частушка:

Нынче выпить, закусить –  
Это вам не шутки:  
Ельцин лесу наломал

Пострашней Мишутки!<sup>29</sup>

\* \* \*

Когда Анатолий устроился на работу в Байболовку, ему там выделили служебное жильё, но оказалось оно таким неудобным и холодным, что проще было ездить каждый день домой в Пермь, тогда это не являлось особой проблемой, как теперь.

Уже в 1990-х годах ему посоветовали взять участок земли и строить свой дом. Закончил он эту эпопею со строительством дома в 1997 году, когда, как Анатолий шутит, все мы были «миллионерами». Два миллиона воистину, как их тогда называли, «деревянных» рублей он заплатил за стройматериалы. Да два миллиона за строительство дома. Это не считая бани. За неё пришлось платить уже новые деньги – деноминированные, тысячи. А банька у него – ох, хороша, жаркая, лёгкая. Владимир Крупин в ноябре 2008 года приезжал в гости в Байболовку, так заходов пять сделал, с перерывами, а мне в тот раз и одного досыта хватило с отвычки...

Всё это время шла параллельно и другая жизнь – творческая в Союзе писателей. Складывались стихи, издавались книги, совершались по области и стране поездки с выступлениями, участие в Днях литературы. Происходило непрерывное общение с друзьями-писателями.

Их была четвёрка неразлучных друзей: Анатолий Гребнев, Иван Лепин, Иван Байгулов и Михаил Голубков. Чего скрывать, случалось и за рюмкой посидеть, потолковать «за жизнь». Они были людьми одного поколения и понимали друг друга с полуслова. В такие часы нередко вспыхивали

---

<sup>29</sup> «Предтечей» Бориса Ельцина, ставшего первым Президентом России, первым и последним Президентом СССР был Михаил Горбачёв.

жаркие споры, особенно между прозаиками Иваном Байгуловым и Михаилом Голубковым. У них были разные точки зрения на историю России, на пути её развития. Иван Михайлович держался в спорах консервативных, партийных позиций, отстаивал советскую власть, выведшую его из крестьян в писатели, Михаил со свойственным ему горячим темпераментом утверждал, что революция и советская власть принесли России национальную трагедию, что многие сегодняшние беды – нравственные, социальные, экономические, экологические – следствие этой трагедии.

Михаил происходил из семьи репрессированных, дед его был обвинён как кулак и расстрелян во дворе Пермской тюрьмы в год рождения Михаила, в 1937. Одарённый ученик Виктора Астафьева, Голубков был писателем ищущим, раскапывал в литературе темы острые, не поощряемые властями предрержащими. Он работал очень активно, был человеком весёлым, широких интересов, хорошо играл в шахматы, интересовался искусством, живописью, дружил с художниками, увлекался охотой, рыбалкой: был очень удачливым хариусником. Впервые в своей жизни хариуса я отведал за столом именно в квартире Голубкова. Частенько встречается хариус и в его рыбацких рассказах. Квартира у него, кстати, была трёхкомнатная, в хорошем месте, рядом с «Универсамом» (на улице Большевистской, 133–94, на 13-м этаже), но комнаты были небольшие. На кухне стоял антикварный массивный буфет – гордость Михаила Дмитриевича... К старине он относился почтительно и с благоговением.

Гребнев до сего дня недоумевает, что произошло с Голубковым. Не успел он размахнуться в полную силу: в самом расцвете творческих лет – в 51 год срезала его страшная болезнь: рак предстательной железы. Может быть, будучи заядлым охотником и не однажды ночуя в зимнем лесу у костра, он простудился; а может, ещё раньше, когда работал лесоустроителем, когда приходилось целыми дня-

ми, случалось, мокнуть в тайге под осенними дождями? Умирал Михаил долго и мучительно, но болезнь переносил мужественно и достойно.

Он успел издать при жизни 11 полновесных книг, и 4 из них – в Москве. У него есть очень сильные и повести и рассказы. В сонме голосов пермских писателей того времени голос Голубкова, на мой взгляд, был наиболее слышимым голосом. Когда в 1987 году отмечали 50-летие Голубкова, меня в числе других пригласили принять участие в телепередаче о нём, при подготовке я стал делать стилистический анализ его рассказа «В лугах» и был поражён той высокой простотой, какая доступна только подлинному таланту, и буквально Бунинской глубиной этого небольшого произведения.

А рассказ «Бронниковы» я считаю вообще шедевром Голубкова, созданным на уровне лучших классических образцов. Очень пронзительный рассказ. Написанный тридцать лет назад, он является метафорой и сегодняшней России, это её состояние символизирует футбольная семья-команда деревенских ребяташек Бронниковых: босоногих, избитых, завывающих после первого тайма от синяков, ссадин – от боли, но не сломленных игрой с хорошо экипированной и обутой в бутсы пришедшей командой. Что-то готовит им второй тайм?.. Что-то готовит нынче «второй тайм» нашей матушке-России?..

Мне думается, если бы Михаилу при его самородности дать широкое систематическое гуманитарное образование, тогда бы он стал ещё более всеохватным писателем. Надеюсь, что когда-нибудь на доме, где жил Михаил Голубков, тоже появится мемориальная доска.

Гребнев нашёл в Голубкове своего единомышленника. Споры яростных между ними не возникало, они понимали друг друга. У творческого человека обязательно должен быть единомышленник, с кем была бы возможность поговорить в непринуждённой дружеской обстановке, поде-

литься наболевшим, найти понимание своей позиции, получить оценку и поддержку в творчестве, признание, чтоб опереться было на кого. Вот такими они и являлись друг для друга – Голубков и Гребнев.

Немало минут провели друзья за шахматной доской. Случались при этом и курьёзные случаи. Телефоны в то время, даже квартирные, были ещё редкостью, на тот момент, о котором идёт разговор, ни у Голубкова, ни у Гребнева телефона дома не имелось. Однажды засиделся Голубков у Гребнева, до четырёх часов утра проиграли в шахматы, дело это азартное. Засобирался домой, просит Галину Гребневу, она дружила с женой Голубкова, с Риммой, написать записку, что он был не где-нибудь, а именно у Гребневых. С гневом распахнула Римма дверь квартиры, Михаил вперёд себя, как щит несокрушимый, протягивает жене оправдательную записочку от Галины... До сих пор чета Гребневых вспоминает эту историю со смехом.

По специальности Римма Афанасьевна была поваром-кулинаром. Как она умела готовить – пальчики оближешь. Ну, а царскими пельменями из рябчиков, настрелянных Михаилом, никто ни до, ни после не угощал друзей-писателей. Сколько терпения надо было иметь в запасе, чтобы пельмени эти настряпать! У весёлой хохотушки Риммы его хватало на гостей. И всё это вместе создавало какую-то особую атмосферу в писательской среде того времени. Неспроста Виктор Петрович Астафьев, наезжая в Пермь, не желал останавливаться ни в какой самой замечательной-раззамечательной партийной гостинице, а шёл только к своему ученику, другу-чусовлянину – Михаилу Дмитриевичу Голубкову, находя здесь тёплый и душевно-дружеский приём.

В конце 1970-х годов газета «Советская Россия» опубликовала большую подборку стихов Анатолия Гребнева. А когда в 1979 году Виктор Астафьев заезжал в Пермь к Голубкову и они встретились с Гребневым, Виктор Петрович

похвалил тогда стихи Гребнева. И следил, оказывается, и помнил!..

Уже нет в живых и Риммы Афанасьевны, она скончалась 6 мая 2005 года. Как хотелось ей, помнится, к 60-летию покойного супруга в 1997 году издать том его избранных произведений. Не получилось. Ходила на приём к тогдашнему губернатору, просила помочь. Отказали. Очень она переживала за творческое достояние своего мужа, ставшее ненужным в новой России. Может, это и подкосило её, этим и воспользовался коварный рак, ухватив надломленный организм цепкими клешнями...

Голубков, как уже было сказано, хорошо играл в шахматы, но ходы – по сравнению с Гребневым – обдумывал подолгу. Нетерпеливый Анатолий ему чаще проигрывал. Однажды сражались ночью, а рядом стояла бутылка коньяка, содержимым которой они время от времени взбадривались. Гребнев проиграл одну партию, другую. Ах, так, думает... И себе незаметно – чая, а Михаилу – коньяка. И где-то после третьей-четвёртой рюмки они выровнялись: Гребнев начал у Голубкова уже выигрывать, повергнув того в полное недоумение. Потом, конечно, открыл ему тайну своего успеха. Долго смеялись друзья над этой проделкой.

Михаил был независимого характера и мнения, перед каждым шапку не ломал. Снобоватый и вельможный Лев Давыдычев не любил Михаила Голубкова, как и Виктора Астафьева<sup>30</sup>, и не упускал возможности поддеть, кольнуть, уязвить побольнее. Однажды я был свидетелем их перепалки, когда Давыдычев, по-барски вальяжно развалившись в кресле вестибюля писательской организации перед знаменитыми зеркалами с «морозным» рисунком работы Равиля Исмагилова – иллюстрацией Пушкинского «Лукоморья», с презрением бросил заведённому и возбуждённо мечущему-

---

<sup>30</sup> Мария Семёновна Астафьева вспоминает: «Лёва Давыдычев, тот уж подковыривать любил, хотя ведь сам-то баринок был!..» (Звезда, 20.08.2010, с, 3).

ся по вестибюлю Михаилу: «Тебе шашку в руки дай, так ты всех перерубаешь...»

Эта обидная фраза рубанула тогда меня тоже не хуже шашки, до сих пор саднит...

Но постоять за себя Михаил умел. Мне доводилось и это наблюдать не раз. Как-то мы компанией засиделись вечером в книжном издательстве, в нашей редакции, отмечая какое-то событие. Когда уходили, изрядно уже подзахмелевший Роберт Белов, главный «похоронщик»<sup>31</sup> в писательской организации, стал задирать Голубкова примерно в том же тоне, что и Давыдычев, сказав что-то унижительное. Белов и Давыдычев находились в одном идейном лагере, а отношение лагеря к Голубкову было у всех одинаковым, клановым, кастовым. Невысокого роста ершистый мужичок, Голубков, прошедший в детстве школу рабочей окраины города Чусового, одним пальцем правой руки брезгливо поддел Роберта за кончик носа, и уже в следующую секунду нынешний «патриарх пермской литературы», как его величают в городской либеральной прессе, лежал на полу вместе со своим гонором... Что было, то было!

Одним пальцем – это вот получилось тоже очень символично!

В Пермском книжном издательстве того времени существовала совершенно особая творческая атмосфера, которая обогащала душу всякого, желающего этого, окрыляла её; там концентрировалось много талантливых людей – художников, писателей. Но там можно было и легко спиться, богемная среда располагала к этому... Художники, поэты, прозаики, авторы-публицисты, получив гонорар, частенько несли сюда «благодарение». В одном из шкафчиков редакции художественного оформления всегда что-нибудь стоя-

---

<sup>31</sup> Когда умирал кто-нибудь из писателей, то Роберт Белов в те годы всегда был организатором и распорядителем похорон, лучше его никто ритуала не знал и не сумел бы исполнить, уж в этом замечательном таланте отказать ему совершенно невозможно.

ло... И, заглянув в редакцию Николая Горбунова и Михаила Курушина, желающий всегда мог «поправить здоровье».

Как-то я услышал от художника Равиля Исмагилова фразу: «Мишу сгубила гитара...». Курушин был очень размашисто талантлив и как человек, и как художник. Он знал прекрасные стихи, любил поэзию, у него был тонкий вкус, он великолепно пел под гитару, был изумительным рисовальщиком хорошей школы, которую прошёл в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина, затем окончил там же, в Ленинграде, академию художеств. Вот какой уровень подготовки имел он!

Когда Курушин рисовал портрет Гребнева для галереи, то сделал около двадцати вариантов, добываясь выразительности и точности. И галерея заплатила тогда ему за этот портрет 400 рублей, в два раза дороже, чем другим художникам.

Помню его одну графическую работу, которая буквально потрясла меня. Лист, примерно 60 на 45 см. Изображено нагромождение храмовой архитектуры, стен, колонн, сводов, куполов. И внизу, под сводом врат (а ракурс взят сверху), запечатлена крохотная чёрная фигурка монаха в рясе, который стоит на ветру. И духовно, и философски очень многозначная картина. Сам Михаил Курушин значения ей не придавал, он не сознавал, что ли, той мощи в ней, которую интуитивно ухватил, заложил?

В 1986 году у меня даже вот такое четверостишие написалось, навеянное этой картиной:

С неба падает чёрный снег,  
Словно мёртвые птицы кружатся,  
Возле храма стоит человек,  
В невидимку желая ужаться.

Изображение можно было понимать и как давящее нагромождение над хрупким человеком содеянного его же руками, и как духовную мощь, созданную другими до этого монашка, который ещё и песчинки, может быть, не поло-

жил в это сооружение, которое ему предстоит освоить, постичь, рискуя постоянно быть раздавленным в одночасье тем духовным опытом (при неверном, конечно, усвоении), громада которого создана до него за тысячелетия религиозной истории.

Михаил кому-то это произведение отдал походя. Потом всё собирался забрать и подарить его мне, раз оно так мне понравилось. Но где оно, у кого, и целое ли сие произведение, теперь и сам автор вряд ли помнит и знает...

Встретив как-то (на стыке тысячелетий) Михаила Курушина на чьих-то похоронах, запомнил, – я был потрясён: он превратился в сморщенного старика без зубов. Сердце моё больно сжалось при виде его: что делает с нами водка... В 2009 году ему исполнилось 60 лет<sup>32</sup>.

Сегодня мы с Гребневым нередко вспоминаем всех этих людей, и художников и писателей, очень разных, но по-настоящему *верных своему творческому призванию*, а это благотворно действовало, несомненно, на Гребнева тех лет, ведь он постоянно «варился» в той талантливой среде.

Ныне он вспоминает, то была не просто дружба, а была душевная поддержка творчества друг друга. К примеру, Иван Байгулов, работая в «Вечерней Перми» заведующим отделом культуры, заботился о публикациях коллег в своей газете, поддерживая их и материально: за публикацию в литературной колонке (каковая была в газете постоянной!) писателю платили 20 рублей. Гонорары были приличные

А с какой благодарностью вспоминает Анатолий редакции районных газет 1970-х – начала 1980-х годов. Мало того, что они давали возможность выхода на читателя глубинки, так ещё и через свои пяти-шестирублёвые гонорары помогали иногда буквально выжить материально. Такие редакторы, как Иван Гурин (Чернушка), бывало, весь гоно-

---

<sup>32</sup> 30 октября 2010 года я случайно узнал, что в мае или в конце апреля этого года Михаила Курушина не стало. Союзу художников о его смерти даже никто не сообщил во время.

рарный тридцатирублёвый фонд номера выплачивали безденежным писателям авансом, ещё до публикации их произведений, когда они приезжали в район бригадой из двух–трёх человек с выступлениями перед читателями. И это, говорит Анатолий, была целая эпоха.

Дружил Гребнев более с прозаиками, нежели с поэтами, из которых наиболее в те годы выделялись, несомненно, Алексей Решетов и Виктор Болотов. Последний был вероятно скуп на похвалу других поэтов, но однажды похвалил Гребнева за описание природы в его стихах.

Но близких творческих отношений с этими поэтами-сверстниками у Гребнева долгое время не было. Не было именно потому, что эти мужчины были сильными поэтами. А Толя в какой-то момент интуитивно почувствовал, что ему не стоит с ними слишком сближаться, надо держать некую дистанцию, чтобы не подпасть под их постоянное влияние, ибо оно скажется на становлении, на творческой индивидуальности, на неповторимости своей поэтической интонации. И лишь ощутив в себе твёрдо творческую самостоятельность, стержень, и уже не боясь утратить свою индивидуальность, Гребнев сошёлся с этими поэтами близко и понастоящему сдружился.

Словно какой-то фантастической бурей вырвало многих писателей из жизни, одного за другим, буквально за десяток с небольшим лет. После ухода старшего поколения – атмосфера в писательской организации изменилась кардинальным образом. Пришло много новых людей, среди них немало и талантливых, но сформировавшихся уже вне писательской организации, которым чужды её традиции, её история, которые равнодушно связаны с нею уже не творческим духом, не высокой цеховой ответственностью за слово, а чисто корпоративной, *формальной принадлежностью* к писательскому союзу.

Иван Байгулов, Иван Зырянов, Алексей Домнин, Владимир Радкевич, Владимир Черненко, Лев Давыдычев, Ми-

хаил Голубков, Авенир Крашенинников, Владимир Воробьёв, Иван Лепин, Виктор Болотов, Олег Селянкин, Николай Вагнер, Николай Домовитов вымерли, можно сказать, друг за другом. И было уже дурной приметой, что как только кого-то примут в Союз, жди – кто-нибудь умрёт... Потом образовался небольшой перерыв и – снова утраты: Николай Бурашников, Константин Мамонтов, Лев Кузьмин, Македоний Федотовских<sup>33</sup>, Алексей Решетов, Михаил Смородинов.

Я называю здесь, разумеется, не только тех писателей, с кем тесно связан был Гребнев, о котором я преимущественно и пишу, с кем немало лет он дружил. Многим из них он посвятил прекрасные и глубокие стихи. Вот, к примеру, памяти Н. Бурашникова:

Убитый вечером осенним,  
Ты был из хора тех певцов,  
Кто край любил свой,  
Как Есенин,  
И неприкаян, как Рубцов.  
И перехватывала горло  
Не водка – боль родной земли.  
И ни деревня, и ни город  
Тебя приветить не смогли...  
Тебе размашистая смелость  
Дана природою была.  
Вот жаль,  
Что песня не допелась,  
Едва лишь голос обрела.

Очень самородный и по-настоящему русский, без всякой подделки, глубокий, мыслящий, восходящий был поэт Николай Бурашников. Разбирался в людях, чувствовал и

---

<sup>33</sup> Любопытная подробность: М. Федотовских жил на ул. Юрша в микрорайоне Садовый, и до его смерти и смерти М. Смородинова на этой протяжённостью в четыре автобусных остановки улице проживало одновременно шесть писателей. Так что можно ул. имени большевика Юрша переименовать в «Улицу писателей».

меру их таланта, и степень их благородства. Подлецу мог и публично запросто сказать, что он подлец. Конечно, случались тут и неприятные перехлёсты...

Замечательное стихотворение Анатолий Гребнев посвятил Ивану Васильевичу Зырянову, писателю-фольклористу: «Частушка».

...По плечу творенье это  
Лишь тому, кто сам поёт –  
Гениальному поэту  
С гулким именем –  
Народ!

...Друг мой, ласковый и кроткий,  
Жизнь поставил на ребро,  
Рассыпных тех самородков  
Собирая серебро.

Только потому, что стихотворение это длинное, я отказываю себе в праве поместить его здесь полностью. Желающие без труда найдут его в сборниках Гребнева, как и многие другие, которые невозможно здесь процитировать.

В большой дружбе был Анатолий с Николаем Домовитовым, очень интересным человеком и поэтом, прошедшим, как было ужу сказано, и войну, и ГУЛАГ и не утратившим оптимизма:

Чёрствый хлеб жевал я всухомятку.  
Говорили в лагере мне так:  
– Вот, счастливчик, получил десятку,  
А могли бы врезать четвертак!

Почти полтора десятка лет прошло со дня его смерти (умер в июле 1996), а до сего дня Анатолий часто вспоминает его с большим уважением и любовью. Также и Николая Николаевича Вагнера, приветливого, гостеприимного, остроумного человека, с утончёнными манерами, с безукоризненной выправкой, дворянина по сути. 18 июня 2010 года ему исполнилось бы 90 лет. И чем дальше, тем боль-

ше, по словам Гребнева, высвечивается масштаб личности Николая Николаевича.

Из живущих ныне выходцев из той организации, сформированной духом старшего поколения, я бы назвал ещё поэтов Валентину Телегину, совестливейшего Валерия Возженникова (постаноговского до недавнего времени создателя, в ноябре 2009 года перебравшегося в Пермь), Фёдора Вострикова, Николая Кинёва, Владимира Соколовского и Татьяну Соколову, к творчеству которых у Гребнева особое уважительное отношение. Прочитав вышедшую в 2005 году книгу Валентины Телегиной «Богородская трава», Гребнев, помню, неподдельно восхитился её поэтической высотой и силой, её философской глубиной.

Сколько в поэзии Валентины Фёдоровны боли за человека, за чистоту слова, за Отечество! А сколько динамики. Это поэзия борьбы, поэзия постоянного прорыва из чёрной полосы в светлую. Валентина Фёдоровна поэт – мыслящий и мудрый. Это редкое качество, оно добывается и развивается годами и годами упорной талантливой работы, не расчётливой, а по душе, по призванию, по совести. Она – вот уж во истину – живёт поэзией.

По призванию! Это слово хочется повторить с восклицанием ещё раз, и вот почему. В последние годы в Союз писателей устремился поток людей, которые всю свою жизненную энергию и весь свой талант вложили в то, чтобы обустроить свою личную жизнь, сделать карьеру в избранной профессии. И в этом нет ничего предосудительного, наоборот – это хорошо. Но в часы досуга они занимались (или развлекались?) литературным творчеством, даже книжки выпускали. И вот, достигнув определённого устойчивого положения, или пенсионного возраста, решили послужить теперь уже литературе. А ей надо такое *служение*?

Когда бы литература была для них *призванием*, они бы ради этого призвания рискнули и бросили всё, и жизнь свою, невзирая ни на какие трудности и лишения, посвети-

ли бы литературе, литературному творчеству, и нашли бы для куска хлеба работу такую, которая позволяла бы им служить своему призванию, может, не обеспечивая благополучием, но всё же предоставляя хлеб насущный. Вот если у Гребнева **призвание** было, так и судьба его устроилась чудным образом, позволяя служить призванию.

Но они для этого не нашли сил и этого не сделали, не рискнули, и судить их тут, право, не за что. Об этом легко рассуждать на бумаге, а жизнь, она «редактирует» каждого человека по-своему. Однако так и хочется сказать в адрес этих людей, что на жертвенник литературы они положили конец, своей жизни, которую обустроивали. И хотят войти в Союз писателей. Пусть пишут, получают от этого наслаждение и удовольствие, радуют друзей, близких. Но причём тут, позвольте, профессиональный Союз?..

Коли Бог пожаловал тебе дар писательства, так почему ты не послужил ему? Ты дар этот отверг? Так зачем теперь, в конце жизни, которую ты отдал другому служению, ты обращаешься к отвергнутому дару, не для того ли, чтоб удовлетворить тщеславие? Не поздно ли, милый друг! И можно ли представить в таком положении, к примеру, писателей Ф. Достоевского или А. Чехова, И. Бунина, М. Булгакова, безраздельно служивших литературе?..

Союз писателей, к сожалению горькому, за последние полтора десятка лет скомпрометировал себя тем, что невероятно снизил требования к качеству литературных произведений, к творчеству и стал всё более превращаться в пристанище графоманов.

Наверное, это произошло потому, что когда Союз писателей СССР раскололся на два писательских Союза: «России» и «Российский», то они стали перехватывать друг у друга кандидатов, чтоб увеличить «мышечную массу». Принимали в Союз даже по одной рукописи, хотя человек ничем и никак ещё не подтвердил, состоялся ли он именно как писатель. А ведь это – судьба, быть писателем! Судь-

бой обеспечивается это высокое и ответственное перед совестью, народом историей звание.

\* \* \*

Не раз говорил я в своих устных публичных и письменных выступлениях, что у нас в Перми очень сильная поэтическая школа, и сейчас ещё раз скажу об этом. Жаль, что заинтересованного и равновеликого этой школе понимания в нашем крае нет и, похоже, пока не предвидится, наблюдается одно высокомерное брезгливо-пренебрежительное отношение: у нас, поэзия?.. Потому что в насковозь расчётливо испастерначенном и выгодно проюряченном городе нет литературной критики, нет масштабных и порядочных *личностей*, способных поднять и *достойно*, беспристрастно принять и осмыслить этот мощный пласт.

Блоха, когда напьётся крови из шеи льва, тогда она думает, что вот теперь и она могущественна, как сам царь зверей. Так и наши доморощенные критики цепляются за чужие шеи, чтоб поживиться... А на своё достояние смотрят, как на квасной патриотизм, не выше, потому что нет у этих критиков цельности видения.

И горько бывает сознавать, что *не к постижению истины направлена их деятельность, а к утверждению себя в качестве истины*. И не со времён ли раскола просвещённого слоя нашего общества на западников и славянофилов идёт это? Конформизм штука страшная, *радиация конформизма* поражает душу навсегда и необратимо... Это уже – трагедия личности, трагедия неизбежная, она рано или поздно, как показывают наблюдения, неотвратимо настигает этих людей.

Но так хочется, так хочется верить, что в новом поколении вызревают в университетской среде подспудно те достойные заинтересованные личности, свободные от конформизма и продажности, личности, о которых тоскует се-

годня душа России, жаждущая возрождения, освобождения от униженного состояния. Потому что настолько измазались в ядовитой слюне диссидентствующей лжедемократии, что вроде бы начинаем (?) понимать, куда влечёт нас этот путь самоуничтожения.

В книгах Гребнева мы найдём немало образцов подлинно высокой гражданской поэзии, гордости за свою историю, за достойных сынов и дочерей Отечества (Пушкин, Есенин, Ахматова, Заболоцкий, Рубцов, Свиридов, Заволокин, Распутин, Крупин и другие).

Его поэзия – это богатый и широкий диапазон душевных проявлений человека в разных состояниях и возрастах, его отклик на жизнь: и ребёнка, и подростка, и студента; и мальчика и зрелого мужа; и жителя деревни и ушедшего из неё человека, влившегося в прослойку городской интеллигенции.

О стихотворении Гребнева «Метельный вальс», написанном в 1990 году, Алексей Решетов – мастер преимущественно короткого стиха – сказал: «Надо же, такое длинное стихотворение – и ни одного лишнего слова! – И пошутил: – Если б я полетел в космос, взял бы это стихотворение». Действительно, это потрясающее стихотворение, пронзительной силы и глубины, такой выплеск души, что читаешь – и мороз по коже.

И мы покаянно итожим  
Всё то, что ушло навсегда:  
Мы даже заплакать не можем,  
Как в юные наши года...

А в середине девяностых годов, в 1994 или 1995 году, Решетов, поздравляя Анатолия с Новым годом, написал в открытке такие слова: «Голя, спасибо тебе, что ты и в жизни и в стихах любишь людей!»

Любишь людей! Хорошо-то как!

Василий Белов в 1992 году по дороге из Москвы в Вологду читал подаренную ему Гребневым книгу стихов «Храм» и после прислал автору такую «рецензию» на неё:

От Степанова до Крылатского,  
То с улыбкой, то с тихой болью,  
Соловел я от слова вятского,  
Послухмянного Анатолию.

Прочитал наизусть, что было,  
Жаль, до Вологды не хватило.

«Послухмянного» – какое удивительное слово употребил Василий Иванович, то есть – послушного, доступного Анатолию, подвластного ему, уловленного им.

А с какой силой выразил поэт Гребнев детскую чистоту и невинность, тоску по их безвозвратной утрате. В стихах разного творческого периода Анатолия мы встретим образ *мальчика*, бегущего полем. Почему и книжка наша называется **«Вон парнишка бежит босиком»**.

Вон парнишка бежит босиком  
Дальним полем, тропой луговой.  
Он с былинкою каждой знаком,  
Золотой весь от солнца и воли...

Или:

Не в те ль времена Святослава  
В моём древнерусском краю  
Я вижу,  
Как мальчик кудрявый  
Бежит босиком по жнивью.

Бескрайней подхваченный волей,  
Держа в узелочке обед,  
Бежит он по жёлтому полю,  
Которому тысячи лет...





праздник коллективного труда, счастье знакомств, познание сущностного. *Поле* в поэзии А.Гребнева – это философский образ, порождённый *высоким крестьянским происхождением* поэта. Образ, с которым прочно связано мировоззрение той части народа, которую величают *крестьянством*, которое всегда было главной опорой христианства на Руси, опорой державы. И значит неспроста **Мальчик**-то бежит по **Полю**:

Бескрайней подхваченный волей,  
Держа в узелочке обед,  
Бежит он по жёлтому полю,  
Которому тысячи лет...

Такое масштабное и ёмкое полотно достойно-созвучно былинной кисти великого художника Виктора Михайловича Васнецова.

\* \* \*

И в пору своей творческой зрелости поэт сохранил тягу к жизни, многосторонность и глубину интересов. Имея Божий дар Слова, он по-прежнему творит замечательные стихи. В нашей организации он сегодня – самый искромётный талант, разрабатывающий в поэзии глубокие и важные темы. Это духовно богатая личность, многогранный и тонкий лирик, человек на редкость щедрой души. У него лёгкий компанейский характер, он – неистощимо остроумный, весёлый, бескорыстный, беззлобный и независтливый человек, и, наверное, поэтому – у него бессчётное количество друзей.

В том числе и таких, дружбой с которыми он очень дорожит и, не кичась, гордится: Василий Белов, Валентин Распутин, Валентин Курбатов – известный, талантливый и глубокий критик, наш земляк, чувовлянин. О них Гребнев отзывается всегда с большой теплотой. Да, вот такой размах, вот такие уникальные контрасты: с одной стороны,

медицинской, – в Байболовке психически неполноценные люди, а с другой, литературной, – люди из ряда лучших сынов Отечества. У Анатолия немало книг с дарственными надписями этих писателей.

Но особое слово надобно сказать о Владимире Николаевиче Крупине, земляке Гребнева, вятиче, самом давнем и близком друге Анатолия.

Когда-то, мы помним, Борис Гринблат говорил Гребневу, что ему надо уезжать из Перми в Москву, если он хочет обрести широкую известность, или, на худой конец, найти там влиятельного друга и покровителя. Гребнев тогда сказал, что из Перми он никуда не поедет. И не жалеет, что не уехал, но вот теперь считает, что это Бог послал ему (и не на худой конец) такого земляка, как Владимир Крупин. Дружба с ним и прямо и косвенно повлияла очень сильно на развитие всеохватного таланта Анатолия Гребнева.

Я не знаю другого человека, о ком в наших разговорах отзывался бы Гребнев ещё так много и так тепло, с неподдельной братской любовью. Оно и не удивительно: Крупин через свою известность, своё влияние очень много сделал для широкой популяризации творчества своего земляка, он свёл и познакомил Гребнева со многими известными людьми. А ведь общение талантливого человека с людьми выдающимися очень поднимает уровень его таланта.

Владимир Крупин до сих пор заботится о своём лучшем друге Анатолии, опекает его, «окормляет» духовно как крёстный, каковым стал он для Анатолия в 1980 году, когда крестил его в Волоколамске. В детстве Толя не был крещён, негде было. Почти все храмы в округе оказались разорены, закрыты, до ближайшего действующего было 18 километров. Но в войну и в первые годы после войны матери было просто не до того, чтобы сына крестить, а после Толя уже стал пионером, комсомольцем, и по идейным соображениям вопрос крещения отодвинулся на самое неопреде-

лённое время, пока эту проблему не поднял его друг Владимир Крупин.

И вот в дни, когда в Москве только что закончилась Олимпиада, заслонившая собой тогда напрочь похороны всенародно любимого Высоцкого, Крупин повёз своего друга Анатолия крестить в город Волоколамск к знакомому священнику, с которым заранее договорились. И специально для крещения Надежда Крупина собственноручно сшила Гребневу новые ситцевые трусы, потому что купить их даже в Москве оказалось невозможно. Вот такая трагикомическая ситуация 1980 года... Сейчас трудно в это поверить, но тогда не было в магазинах ни нательного, ни постельного белья, проблема была купить зубную пасту... Да и выбор-то её был – «Поморин» да «Мятная». В 1979 году я больше полгода не мог заказать самые обычные очки: не было стёкол на «минус два», не было оправ. Видимо, всё стекло – как записал я тогда в дневнике – шло на выработку бутылок для водки...

Приехали Крупин с Гребневым в Волоколамск, а священника, отца Николая, нет. Выяснили у рабочих, которые трудились возле древнего храма, на два метра ушедшего в землю, что после окончания воскресной литургии батюшка на своей машине увёз куда-то в деревню старушек, своих прихожанок. Пришлось немножко подождать заботливого отца настоятеля. Храм был расположен в черте города, на восточной стороне, на холме, с которого открывался чудесный вид на загородные луговые просторы, на реку...

Вскоре прикатил отец Николай на «Волге» старой модели, на капоте которой ещё красовался никелированный олень, навсегда застывший в стремительном художественном прыжке. Но, несмотря на возраст, машина выглядела вполне прилично. Отец Николай, до того как поступить в духовную семинарию и стать священником, окончил политехнический институт и в технике кое-что понимал. По

возрасту он был лет на пять-шесть постарше Крупина и Гребнева, то есть приблизительно лет сорока пяти.

Таинство крещения священник провёл основательно и неспешно, с катехизацией (разъяснением смысла таинства) крещаемого. Уже много времени спустя, в сознании и крёстного Крупина и крестника Гребнева связалось, что день принятия таинства крещения 10 августа пришёлся чудным образом на день празднования ***Гребневской иконы Божией Матери.***

После крещения священник увёл гостей в свой дом, сам накрыл для них скромный праздничный стол (матушки дома не было, уехала в Москву за продуктами), и в беседе за трапезой проявил широкую эрудицию в знании творчества Н. Лескова и трезвомыслие, а именно: в разговоре о романе писателя «Соборяне», о проблеме «светлого будущего» батюшка усмехнулся и сказал: «Для моих прихожан “светлое будущее” вон там», – и указал в сторону раскинувшегося невдалеке кладбища...

Да, в 1980 году молодёжи в храмах почти не было, молиться приходили ещё одни старушки. И даже приблизительно невозможно было предположить, что произойдёт через десять лет. Казалось, что коммунистическая власть, как базальтовая скала, – это навсегда...

С 1991 года Анатолий Гребнев и Владимир Крупин ежегодно в начале июня съезжаются в Вятку и вместе отправляются в паломничество? в Великорецкий крестный ход, самый древний ход в православной Руси. Путь его из Вятки до реки Великой, до села Великорецкого тянется по полям, комариным лесам и травянистым лугам на сто километров, и паломников этот ход собирает тысячи и тысячи. Так, к примеру, в 2008 году шло около двадцати тысяч человек. Японские, канадские, американские телеоператоры сопровождали это могучее шествие. Один учёный американец в конце хода принял православное крещение.

Снова народу у нас – что в лугах

сенокосных – цветов...

Двигается вновь, разноцветно вскипает людская река:  
Гулит младенец в коляске, за посохом – шаг старика,

Мерно идут молодые, легка ребятишек стопа –  
Им нипочём бездорожье и в пеньях-кореньях тропа;

Рядом с крестьянкой проходит задумчивый  
доктор наук...  
Радости этой соборной счастливей не знаю я мук!

Возносится молитва соборная, как результат – поднимаются-восстанавливаются храмы, сияя крестами, пробуждается от духовной спячки страна, свет Вечности на лицах идущих, народ сознаёт себя, что он есть, что он значит и зачем идёт в этот крестный ход, обрекая себя на немалые физические испытания.

...Перекрещусь у обочины я, позабытую веру верну –  
И с головой в эту реку, как в воду живую, нырну.

И безымянной частицей в родном навсегда растворюсь,  
Здравствуй во веки веков и цветы, православная Русь!

Ради возрождения души – главного сокровища беспредельной Вселенной – совершается это действие, крестный ход, и стихи поэта, посвящённые Великоредецкому крестному ходу, являются осознанием этого значения.

Гребнев оказался в числе первых поэтов нашего времени, кто в своём творчестве стал возрождать стихи духовной тематики, поэтической традиции, безжалостно разрушенной безбожными большевиками. До революции лучшие поэты России в своём творчестве уделяли место стихам духовного содержания: М. Ломоносов, Г. Державин, А. Пушкин, М. Лермонтов, А.К. Толстой, Ф. Тютчев и многие дру-

гие. И не от дореволюционного же скудоумия отдавались они размышлениям о смысле жизни, о вере в Бога.

Нет человека – и вся беспредельная и даже разумом необъятная Вселенная теряет смысл и значение.

Без души Вселенная окажется пустой. Вот почему душа человека дороже всех сокровищ мира – мир без неё теряет смысл. Божие могущество теряет смысл. Произнесу здесь слова, от которых у меня самого по коже мороз, – Бог не нужен будет. Без человека – Бог Сам для Себя. Через человека Он обретает (реализует) Свой высший смысл, Своё беспредельное могущество.

Но и человек без Бога – ничто. Бессмысленная пыль космическая.

Вообще надо отметить, что стихи духовной тематики составляют в творчестве Гребнева целый поэтический пласт, и стихи эти не дань моде, не тематическое брнчание словесами, а опять же – глубокое созидательное осмысление темы.

...Прозреваем теперь понемногу  
В тупике, на глухом рубеже.  
Запрещали нам веровать в Бога,  
Но молитва звучала в душе!

Это было сказано в 1991 году. И не к оплакиванию камней призывает поэт, а к их собиранию, к созиданию того, что было порушено-разрушено:

Мы теперь над погибельным краем,  
Отметим фарисейскую гнусь,  
На обломках святынь собираем,  
Поднимаем соборную Русь!

Мы не ведаем чаще всего, какие тайные течения вихряются в нашей душе, какие явления происходят на подсознательном уровне. Один известный муж учёный – всё в человеке и свёл к сексу и объяснил в человеке всё через

секс. Что ж, у них в Европе, наверное, так оно и происходило, есть тому немало свидетельств...

В стихотворении «Новый храм», посвящённом Валентину Распутину, есть у поэта строки:

Верь, мой друг!  
Сатанинские силы  
Завывают в бессилье пустом:  
Не поставить им крест на России,  
Если будет Россия с крестом!

Так вот, о тайных течениях в душе. Даже в годы безбожия храмы, там, где они сохранялись, *одним своим видом*, даже нередко полуразрушенные, оказывали на душу человека тайное воздействие силы огромной, а поэты, наверное, для того и посланы нам небесами, чтоб осмысливать подобные явления. Вот одно из таких явлений. Есть у Гребнева стихотворение «Колокольня», написанное в 1986 году:

А церковь  
и у нас в селе сломали.  
Но колокольня старая стоит...

В Чистополье эта колокольня была отдана в пользование лесничеству для наблюдения за окрестными лесами, нет ли где пожара: видно было с неё очень далеко окрест. В детстве Гребнев забирался на эту колокольню, на самую маковку, где прежде стоял крест, выданный при советской власти, протискивался в гнезовину и, высунувшись из неё по пояс, раскидывал над маковкой руки по сторонам, сам становясь неосознанно крестом. И мальчику казалось, что летит он птицей, парит над землёй. И вот в мгновения таких «полётов» душа набиралась чего-то необъяснимого, того ныне презираемого врагами России национального, что даётся только от Бога. Потому, наверное, и ненавидимого так бесами, которых радуется то, от чего уже плачет душа повзрослевшего человека, душа поэта.

Я в узкую протиснусь гнездовину,  
Где крест стоял,  
на маковку саму.

И руки я свои,  
как крест,  
раскину,  
И голову, счастливый, подниму.

Всё та же даль,  
да нету удивленья.  
Как раньше, никуда я не взлечу.  
Я дом родной  
и отчую деревню  
Сквозь слёзы  
всё никак не различу.

Именно те незримые и тайные процессы, проистекающие в разные возрасты в душе человека, объясняют его, выплёскиваясь в поступки его. И предателя мы, рано или поздно, видим предателем, конформиста – гнусным приспособленцем, подлеца – подлецом и т. д. Даже в стихах, написанных с юмором или иронией, Гребнев остаётся самим собой, как в «Синайском воробье», где мы находим в соседстве с упомянутым юмором совсем не смешные, а очень серьёзные и глубокие мысли.

...Наверняка по-русски разумея,  
Чирикая, он сел на пляжный тент.  
Да ты не из России ли, земля?  
Или с двойным гражданством, диссидент?

Спасибо, ты мне Родину напомнил!  
Пускай она отсюда не видна,  
Хочу я, чтоб и ты душою понял:  
У нас от Бога Родина одна...

Стараясь приземлить и унижить подобные убеждения, творческая интеллигенция погребального – ой, извините! – либерального толка называет их «почвенническими».

Кто ещё сложил такую оду воробью? Никто не воспел так воробья, как Гребнев. Рубцовское стихотворение «Воробей» в восемь строк в данном случае не в счёт!

«У нас от Бога Родина одна...» – нам нечего делить: Земля всё быстрее становится слишком маленькой, чтоб делить человеку её алчно и губительно из-за его неодолимой тяги к богатству, к власти, которые всегда были и остаются в основе всей вражды народов и наций.

Понимаем ли мы, что земля наша – святыня? На ней мы стоим ногами, она кормит нас, на ней живём, реализуемся как люди, в неё уходим, туда, где бессчётное число лежит наших предков. Без неё, без почвы-то, мы – ничто! *Даже не пыль!* Как же можно относиться к ней с брезгливостью, без уважения? Только безумцы в состоянии наркотического угара могут так поступать! Нам бы надлежало у китайцев поучиться тому, как следует относиться к земле с могилами предков. Таким «почвенничеством» можно только гордиться. В нём – неписанный закон самосохранения народа и его выживания.

Одна общая наша знакомая отозвалась о «Синайском воробье» Гребнева очень уж пренебрежительно, брезгливо и уничижительно и даже с употреблением бранных слов. Ей, клановому человеку, оно не понравилось. Вот на таких, казалось бы, незаметных вещах проверяется человек на гнилость души. Но с талантом Гребнева они, скрипя зубами, вынуждены всё же считаться.

\* \* \*

За границей, на Синае, на Святой земле Гребневу довелось побывать только однажды, в 2003 году. Зато многие уголки и Советского Союза и современной России он объездил. Но из всех этих поездок ему наиболее памятны и дороги поездки на родину Валентина Григорьевича Распутина, который дважды (в 2001 и в 2004 годах) приглашал Анатолия для участия в Днях литературы и искусства Ир-

кутской области «Сияние России». Там в бригаде писателей и других работников культуры Гребнев за несколько дней исколесил в автобусе огромные пространства вдоль русла Ангары и Лены, где имел успех и признание, выступая перед жителями глубинки, забытыми родными правителями...

Каких сил потребовала от Валентина Распутина организация этих мероприятий, трудно представить. А проводились они несколько лет с таким размахом, что, к примеру, приглашали «Кубанский казачий хор», «Омский народный хор». А ведь всех нужно доставить, разместить, накормить, создать условия для работы... Заплатить за труды...

После того Гребнев много раз встречался с Валентином Распутиным мимоходом, на вокзале, когда Валентин Григорьевич проезжал через Пермь. Четырежды и мне довелось присутствовать на этих встречах. Об одной из них расскажу здесь подробнее.

Владимир Николаевич Крупин позвонил в Пермь своему другу Анатолию Гребневу и сообщил, что 12 ноября (было это в 2004 году) Валентин Распутин будет на фирменном поезде «Байкал» проезжать из Иркутска в Москву, так что есть возможность встретиться. Валентин Григорьевич для Гребнева такой авторитет, перед которым остаётся только благоговей. И хотя они дружат, но каждая встреча с таким другом – великой личностью – вызывает в деликатной душе всё-таки невольный трепет.

Получив от Крупина сообщение, Анатолий узнал время прибытия «Байкала» в Пермь, и накануне пригласил неожиданно меня составить ему компанию.

Дело в том, что в Иркутске живёт и работает интересный писатель Александр Семёнов, с которым Гребнев познакомился, когда ездил туда на «Сияние России». Мы же с Александром были в 1989 году на Всероссийском семинаре молодых писателей, организованном редактором «Нового мира» Сергеем Залыгиным и проходившем в Доме творче-

ства в Дубултах (это в Латвии, на побережье Балтийского моря, в Юрмале). Кстати заметить, одной из секций прозы на том семинаре руководил как раз Владимир Крупин, но нам в эту секцию попасть не посчастливилось. И, возможно, сие пошло во благо нам, чтоб не задирали нос. Ведь преждевременный успех, невызревшее признание, даже очень небольшое, может непоправимо испортить творческую судьбу, да ещё как упади эти семена на почву тщеславия – мгновенно прорастут...

Александр Семёнов меня помнил и выслал с Анатолием Гребневым свою новую, недавно изданную книгу «Кара небесная». И было мне радостно, что Семёнов состоялся и раскрылся как талантливый писатель. Естественно, что мне хотелось отблагодарить Александра за его подарок, но в спешке он не сообщил своего адреса, и сейчас я питаю надежду передать ему книгу с Валентином Григорьевичем, с которым они в давних дружеских отношениях.

Встреча с Валентином Распутиным сама по себе – это уже подарок судьбы! До неё оставались ещё целые сутки, и я стал готовиться. Волнение уже ни на минуту не отпускало меня, как школьника перед экзаменом, как подростка перед первым свиданием...

Творчество Валентина Распутина полюбились мне со студенческих лет за остроту и масштабность талантливо поднимаемых писателем нравственных вопросов. Кто будет спорить, что Распутин – это целый пласт в нашей национальной культуре.

Причём, поднимает Валентин Григорьевич в своих произведениях те духовно-нравственные вопросы, не размышляя над которыми нельзя считаться полноценным человеком. Последняя фраза повести «Деньги для Марии», помню, долго произносилась в нашей студенческой среде, как крылатая: «...молись, Мария! Сейчас ему откроют». Потому что за этой фразой стояла судьба человека, покрытая тайной: читателю предоставлялась возможность гадать

самому, что было после того, как открыли герою повести двери...

Сегодняшнее «варево» *не нашей* «культуры» – дешёвой, пошлой, разъедающей душу – только подтверждает высокое созидающее значение творчества Валентина Григорьевича.

Собрания сочинений Валентина Распутина у меня нет, разрозненные издания. Выбрал ту книгу, которая поплнее, с бесценными для меня повестями Распутина, это чтоб автограф взять. А что подарить?..

Долго гадал и остановился на дорогом для меня альбоме «Пермская деревянная скульптура». Во-первых, это шедевры мирового значения, а во-вторых, они достойно представляют именно наш город, наш край. Ну и, конечно, дерзнул «преподнести» великому писателю одну из своих книжек – «Старые русские».

В автографе мне хотелось передать своё отношение к Распутину. И, рисуя в воображении предстоящую мимолётную встречу в этот холодный и хмурый ноябрьский вечер, сделал на второй стороне обложки такую надпись:

Между Москвою да Иркутском  
«Байкал» находится в Перми...  
Здесь на перроне стылом, узком,  
Распутин наш, – поклон прими!

В такую пакостную пору  
Нам выпала, однако, честь:  
И *жить и помнить*<sup>34</sup>, что опора –  
В литературе русской есть.

Пусть мимолётна наша встреча  
(«Экспресс» – стоянка коротка!) –  
Распутинская в этот вечер  
Благословляла нас рука!

---

<sup>34</sup> *Живи и помни* – название повести В.Г. Распутина.

Мы заранее встретились с Анатолием Гребневым у него на квартире и в 21 час отправились на вокзал. По расписанию «Байкал» прибывал в 21 час 54 минуты местного времени – по сути, в такое время года это была уже ночь.

Постучав в дверь купе, Анатолий слегка приоткрыл её, а затем и вошёл. Из-за его спины я пытался увидеть любимого писателя.

Анатолий тише, чем вполголоса, почти шёпотом, разговаривал с полуодетой, прикрывающейся одеялом женщиной. От единственного включённого над её изголовьем крохотного ночничка – в купе было очень сумеречно. Запомнилось, что верхние полки, на которые через приоткрытую дверь падал потолочный свет из коридора, были свободны.

Эта женщина, как сказал мне после Анатолий, была супруга Валентина Григорьевича – Светлана Ивановна. Сам Распутин, увы, спал. Будить его мы не дерзнули. Да ведь и то надо было представить нам, простодушным, что в Перми у нас огромная разница с иркутским временем, по которому была уже самая глубокая ночь. И с какой стати Распутин должен был бодрствовать? Естественно, он спал. Оставив подарки – книги, альбом, яблоки и виноград, – мы вышли.

Я был совершенно разочарован и огорчён чуть не до слёз: ни руку пожать, ни голос услышать, ни автограф взять не удалось... Распутинская в этот вечер не благословила нас рука.

Прошло пять месяцев, и ситуация повторилась: вновь позвонил Гребневу неожиданно Владимир Крупин... Только теперь Валентин Распутин ехал из Москвы, с которой разница во времени у нас всего два часа, кроме того, в момент прибытия «Байкала» в сторону Иркутска, в 21 час 40 минут местного, в апреле в этот час у нас ещё светлым-светло. Да и апрель – это вам не ноябрь: погода была по-весеннему чудесная...

В этот день, 14 апреля 2005 года, в писательской организации Перми проходил творческий вечер поэтической студии «Тропа», что существует при городском центре творчества молодёжи, и на встречу с Распутиным отправилась уже целая ватага писателей под предводительством Анатолия Гребнева: Александр Снитко, Иван Гурин, Фёдор Востриков – руководитель «Тропы», ну и, как говорится, ваш покорный слуга.

На сей раз встреча состоялась. Нам удалось даже сфотографироваться с великим писателем (кстати заметить, очень простым и доступным для общения человеком).

В этот вечер весенний рука Распутина действительно нас «благословила». И перрон был не стылым, и узким не казался.

Проводив поезд и помахав руками на прощание Валентину Григорьевичу и Светлане Ивановне, мы все пятеро единодушно решили, что в этот вечер произошло важное событие в нашей жизни. И это не было преувеличением: ведь по России ехала, в нашем искреннем представлении, – её совесть, великой души человек.

На Днях литературы и искусства Иркутской области «Сияние России» в 2004 году Гребнев близко сошёлся и подружился с кинооператором Анатолием Дмитриевичем Заболоцким, тоже, к слову сказать, иркутянином. Хотя впервые Гребнева с Заболоцким познакомил Владимир Крупин ещё в 1983 году. Тогда отвоевали церковь, которая стояла на территории завода «Динамо», где покоились останки монаха Пересвета – героя Куликовской битвы, которого благословил на эту битву Сергей Радонежский вместе с другим иноком своей обители – Ослябей. На могиле Пересвета стоял мощный компрессор.

И вот первое посещение церкви верующими, вход строго по пропускам. Заболоцкий прихватил с собой съёмочную аппаратуру, чтоб запечатлеть событие и компрессор на

могиле Пересвета. Но Заболоцкого с аппаратурой на территорию завода не пускают. Тогда Крупин взял и повесил себе на плечо один ящик, Гребнев другой и пронесли, а Заболоцкий прошёл безо всего...

В 2002 году Анатолий Дмитриевич Заболоцкий издал с помощью Уральской горно-металлургической компании потрясающей красоты фотоальбом «Лик Православия» объёмом в 320 страниц, отпечатанный 4-тысячным тиражом, большим форматом, в Финляндии, альбом, который он собирал и готовил 26 лет.

Фотосъёмки за эти годы проводились им в Московской, Ленинградской, Псковской, Владимирской, Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Свердловской, Пермской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также на Валдае, в Якутии, на Таймыре, в Крыму, в Эстонии, и на Украине. В предисловии к этому альбому Владимир Николаевич Крупин сказал: «Какие светлые лица, какие ясные взгляды, какая высота смирения и какая сила в этих людях...».

При встрече в сентябре 2003 года в Москве Анатолий Заболоцкий надписал и подарил альбом Анатолию Гребневу, оставив такие слова: «Толе Гребневу! Главный труд моего земного срока».

В 2004 году проходил писательский съезд, местом проведения был определён город Орёл. От Перми в работе съезда официально должен был участвовать только руководитель писательской организации. Анатолий же отправился на свои средства, чтобы повидаться с друзьями. Доехал до Москвы, связался с Крупиным, в Орёл он уже никак не попадает, там всё заранее распределено, жить негде. А в Москве как раз перед съездом проходил не то пленум, не то секретариат, в работе которого принимали участие и Владимир Крупин, и Валентин Распутин.

Крупин пишет записку Распутину, объясняет ситуацию: так, мол, и так, приехал Гребнев... Заседание ведёт Вале-

рий Ганичев – председатель Союза писателей России. Валентин Распутин прямо в президиуме пишет ему тоже записку, что если Гребнева не возьмут в Орёл, то они с Крупиным туда не поедут.

Так Гребнев оказался в Орле. Там он, ко всему, удачно встретился со своим давним другом – Петром Красновым из Оренбурга, с которым уже несколько лет не виделся. Познакомились они ещё в июле 1976 года, когда в Перми проходил зональный семинар молодых писателей и поэтов, здесь они и подружились, ибо сразу сошлись во взглядах на жизнь, на литературу...

## **Часть II**

### ***Сижу и плачу я на берегу пустом***

*На берегу пустом,  
лица не открывая,  
Сижу и плачу я  
На берегу пустом...*  
А. Гребнев

Оценивая широту и многосторонность поэтического дара Анатолия Гребнева, размах и удаль его натуры и в стихах, и в быту (к примеру, взял Толя гармошку в руки, заиграл, запел частушки – и сразу поднял, заворотил целый пласт народной жизни: «Эх, гармонь, – душа гулянки, Самородная краса, – Басовиты медны планки, С приговором



района Пермской области, где и похоронен. В стихотворении этом есть такие слова:

Это что такое, братцы,  
редко где огонь горит...  
«Не с кем стало и подраться», –  
друг мне в шутку говорит.

Однажды у себя на родине, на деревенской гулянке, я имел неосторожность в разговоре о вымирающей деревне пошутить, обронив слова из этого стихотворения: «Не с кем стало и подраться...»

И весь вечер ко мне, прицельно шурясь, подходил мужичок с вопросом: «Не с кем, говоришь, подраться?..»

\* \* \*

Своим образом жизни, поведением, поступками Гребнев даёт нам урок, что талант – это не только умение сочинять хорошие стихи, умение владеть чувствами, а нечто большее. Это натура, это качества души, характера. Это образ жизни. Это щедрость и широта души во всех смыслах. Он задаёт высоту мировосприятия, *масштабность отношения* к жизни, к людям, атмосферу цельности. Отсюда восприятие людьми самого Гребнева, его личности, его творчества. Он – щедр во всём. Конечно, главное, что подкупает в нём – это талант, ум, острый, быстрый, находчивый ум, юмор, и поразительная память на стихи. А потому рядом с ним сегодня поставить у нас кого-либо затруднительно.

К примеру, Анатолий может, не считаясь, помочь человеку деньгами: солдатам ли на хорошие сигареты дать, когда они у табачного ларька считают, кроют на ладошке копейки; в застолье ли угостить щедро собратьев-писателей или коллег по работе; подать не скупое нищему, выручить ли кого-то нуждающегося... Он не умеет мелочиться.

Уже заканчивая эту работу, я случайно узнал от поэта Валерия Возженникова, что Гребнев однажды подарил ему юбилейное издание 4-томного словаря Владимира Даля. Мне Гребнев никогда об этом не рассказывал, помалкивал, по-христиански не хвастаясь добрыми делами...

Гребнев очень многому научил меня в человеческом плане. Но главный урок моей дружбы с Анатолием Гребневым, думаю, в том, что Гребнев дал прочувствовать, что без масштаба души, без её широты и щедрости – и творчество не может быть масштабным и глубоким. Можно издать и 30 и 40 книг, но если нет в них масштаба души твоей, если она лишена этого качества, то творчество твоё будет, как звон поддужного колокольчика: далеко его не услышишь этот мелкий звон. Масштаб души – масштаб таланта.

Вечером 25 октября 2008 года, накануне праздника иконы Божией Матери «Иверская», стал я читать Евангелие (то зачало, которое будет читаться на литургии в день праздника, совпавшего в этом году с воскресеньем – 19-я неделя по Пятидесятнице) и был удивлён словами, которые вызвали у меня ассоциацию с Анатолием: «И благотворите, и займы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая...» (Лк. 6, 35). И подумалось мне: талант и признание, разве это не награда великая?

Анатолий Гребнев очень открытый человек, редкого жизнелюбия, наверное, это и притягивает к нему людей, наверное, потому и не перечесать у него друзей и в Перми, и в Вятке, и в Москве, и в других городах. У него широчайший круг знакомств, которые он поддерживает, помнит товарищей. Спрашиваю у него (дело было 18 ноября 2007 года), поздравил ли Сашу Грязева с 70-летием, писателя из Вологды, с которым мы встречались в апреле того года на Астафьевских чтениях в Вологде. Поздравил. Ну, кто ему, казалось бы, Грязев. А вот помнит. У мелкой личности

больших стихов не будет, у завистливого человека множества друзей не будет.

Ещё об одном друге Анатолия Гребнева следует здесь хотя бы коротенько сказать – о Михаиле Вишнякове, из Читы. Это однокурсник по Литературному институту и, как сам назвал себя Михаил в надписи на одной из своих книг, подаренных Гребневу, «сотаинник по русской поэзии». Он любил выражаться несколько выпендренно.

В 1981 году Михаил пригласил Анатолия к себе в Читу, там раз в два года проходил всероссийский литературный фестиваль «Забайкальская осень». Улететь в Читу самолётом можно было только из Свердловска, из Перми рейса на Читу не было.

Прибыл Гребнев поездом в Свердловск. Самолёт на Читу будет аж через 23 часа, и билетов нет. Что делать? Позвонил приятелю своему, тоже другу по Литинституту Эрику Бутину, известному в Свердловске писателю, сотруднику журнала «Урал». Встретились.

Эрик Бутин, Михаил Вишняков и Анатолий Гребнев познакомились в Литинституте в 1970 году. Все они были интересные ребята, яркие личности, а потому сразу сошлись и подружились. И дружба их продолжалась до самой смерти (Бутин был с 1940 года рождения и умер в 65 лет, Вишняков с 1945 года и умер в 63 года). Все эти годы они переписывались между собой и шутиливо каждый своё письмо заканчивал словами «Слава труду!» Когда-то этот лозунг социалистической эпохи висел повсюду. Но они вкладывали во фразу «Слава труду!», конечно же, свой особый объединяющий их творческий смысл.

Эрик с билетом Гребневу помог, пригласил к себе в гости. При встрече (что невероятно) не выпили ни капли: у Бутина была вшита уже «торпеда», если выпьешь – смерть. Скоротав время в общении, в воспоминаниях, в душевных разговорах за чаем, расстались.

Уже в самолёте Гребнев обнаружил в сумке бутылку водки и «тормозок» – бутерброды на закуску. Благородный Эрик, верный и чуткий друг! Хотя сам не пил, но вот о друге позаботился, уважил в дальнюю дорогу.

По соседству с Гребневым в самолёте оказался общительный армейский майор. Разговорились, познакомились. Ну, как тут не приложиться к бутылке с «огненной водой»? Что они и сделали разок, другой. После чего Анатолия, как водится, потянуло неудержимо курить. Можно здесь невесело заметить, что курильщик он заядлый страшно. Отправился в туалет и там покурил. Через некоторое время по радио предупреждение, что курить на борту самолёта запрещено. Анатолий это предупреждение проигнорировал и, спустя какое-то время, сходил в туалет ещё разок получить табачное удовлетворение.

Когда вернулся на место, к нему тут же подошла бортпроводница и корректно, но безапелляционно заявила, что за нарушение правил полёта он при посадке в Иркутске будет высажен из самолёта. И подкрепила своё словесное заверение вручением соответствующего документального подтверждения. А от Иркутска до Читы расстояние – огого, почти час лёта!..

Подлетают горестно к Иркутску, а там – туман, аэропорт не принимает самолёты. По бортовой связи объявляют, что из-за погодных условий самолёт летит в Читу без посадки в Иркутске. У всех пассажиров, следовавших до Иркутска, лица от огорчения скособочились, зато уж Гребнев расплылся в самой радостной и счастливой улыбке. Туман этот оказался для него спасительным.

Михаил Вишняков встретил друга в аэропорту и сразу помчал на литературный фестиваль, где Гребнев должен был принять участие как поэт и руководитель семинара. Они уже опаздывали...

Все эти годы поэты дружили, переписывались, пересылали друг другу в подарок вышедшие книги. В 2005 году

Михаил Вишняков, потрудившийся два срока (что, по мнению Гребнева, заметно изменило его характер) пресс-секретарём губернатора, выпустил к своему 60-летию двухтомник и прислал Гребневу. Помню, получать его мы попутно заходили на почту с Анатолием вместе.

На титульном листе первого тома была надпись, в которой содержались, в частности, и такие слова: «...Гребневу, который когда-то лично побывал в Нерчинских краях. Мы – поэты свинцового века ещё поживём в XXI-ом лет 12,8 – 13,9, а?!»

А летом 2008 года Гребневу пришла из Читы телеграмма: умер Михаил Вишняков. Анатолий был в глубокой скорби! До сего дня не может он смириться с этой потерей талантливого друга, да и вряд ли когда-нибудь смирится...

Вот так, «Предполагаем жить и глядь – как раз умрём», как сказал А. Пушкин.

\* \* \*

Рентгенолог психиатрической больницы в Байболовке Игорь Анатольевич Маринин – человек, тоже не обделённый творческим началом: играет на скрипке. Он любит делать оздоровительные пробежки по лесу. Однажды бежит рентгенолог по дороге, и внимание его привлекло на одной из берёз в стороне от дороги что-то необычное, заинтересовался, свернул, подошёл. Видит, текст написан на стволе. Стал читать:

На душе ни печали, ни боли,  
Я за облаком белым слежу.  
Посредине бескрайнего поля  
Под берёзою навзничь лежу.

Хорошо под берёзовой сенью  
В полевой вековой тишине.  
В этом шелесте – звоне весеннем  
Я усну, и почудится мне,

Что душа в небеса улетела,  
Что прекрасно ей там и светло.  
А внизу позабытое тело  
На сажень уже в землю вошло.

Но я слышу, как весел и шумен,  
Ветер рвёт молодую листву.  
Неужели ещё я не умер?  
Неужели ещё я живу?

Прочитав стихотворение на берёзе, Игорь Анатольевич был изумлён стихом, а ещё более тем, что случайно наткнулся на него. Конечно же, ни секунды не было сомнения в том, чья это работа – Гребнева: и почерк знакомый, да и кто другой в Байболовке будет стихи на деревьях писать?

А предыстория тут вышла такова.

В Пасху 1997 года, 27 апреля, Анатолий, гуляя по лесу, присел под берёзами и, разморённый щедрым в тот день весенним солнышком, уснул. Через какое-то время он очнулся, чувствуя себя в великолепнейшем настроении: небо чистое, пронзительно голубое и прозрачное, в душе – радость Христова Воскресения, необыкновенный подъём. Какое-то чудное слияние души с Божественной красотой и состоянием природы... И сложилось у него сразу набело это стихотворение: «На душе ни печали, ни боли...». Правильно говорил трагически погибший литературовед Георгий Гачев: «Для мыслителя нужна тишина, укрывательство от мира, сокрытие от суеты».

Ручка с собой была, а бумаги не оказалось. И Гребнев записал стих на стволе одной из трёх берёз, которые стояли в ложке, в сторонке от дороги. Выбрал на стволе местечко почище, поглаже и записал. Записал и запомнил: память на стихи у него, как известно, поразительная: помнит чужие строчки 20–30-летней давности, помнит варианты своих строчек, изменяющихся в процессе работы.

Игорь Анатольевич ножом надрезал квадрат берёсты со стихом Гребнева, отделил его от ствола, принёс и на память вручил Анатолию, не менее изумившемуся. Начни искать специально – ни за что не отыщешь. Поразительно!

Я видел в байболовском доме поэта сие произведение, запечатлённое на берёсте, подобно древним новгородским грамоткам.

Три морозных дня гостил я в тот раз у Гребнева: блаженствовал вечерами перед камином, парился в жаркой бане, замерзал в невероятно выстывающей под утро избе, после завтрака разгребал в удовольствие снег возле крылечка и на тропинке, ведущей к дороге, разминая затёкшие мышцы... Побывал на экскурсии в новом корпусе больницы, где размещено отделение, которым заведует Анатолий Григорьевич. Ежедневно в течение дня к дому Гребнева несколько раз навещался его верный друг, старый добрый одноглазый пёс-дворняга с забавной кличкой Колобок, получить свою привычную порцию угощения. Хозяин Колобка даже обижался, что пёс привязан ко Гребневу больше, чем к своему дому и к своему хозяину...

Вечером к нам «на огонёк» приходил погостить Ген Генныч, тоже неординарный человек, коллега Гребнева по врачебной деятельности – Геннадий Геннадьевич Трепухалов. Конечно же, и слушали записи романсов и песен в исполнении Олега Погудина, и сами пели от души песни, и народные и советские, и под гармонь и под баян. О-о, какой концерт закатили мы в один из этих вдохновенных вечеров. Звучали и «Лучинушка», и «Шумел камыш», и «Варяг», и «Прощайте, скалистые горы», и «Враги сожгли родную хату», и «У церкви стояла карета», и «Ночь тиха, над рекой...», и «Сиреневый туман», и «Ревэ та стогнэ Дніпр широкий», и прочие песни.

У Ген Генныча, по профессии он – врач-невропатолог (или, как в шутку его называет Анатолий – не ври, патолог), редкий дар художественного свиста, прекрасный слух.

Романсы, арии из опер лились одна за другой. Он выводил такие дивные пассажи, переливы, брал такие изумительные фиоритуры, что нам оставалось только восхищённо ахать. Особенно превосходно звучали: «Сольвейг», «Авэ, Мария» Шуберта, романс из «Метели» Г. Свиридова.

А как удивительно мастерски умеет Ген Геныч разделять селёдку, ухватив освобождённую от кожи рыбину за хвост, он в несколько неуловимых движений (я пробовал – не получилось) раздирает её вдоль на две части – спинную и брюшную, и освобождает нежное мясо от позвоночника вместе с тонкими рёберными косточками. Наловчился, говорит, за несколько лет, прожитых на берегу Тихого океана. И картошечку он жарит по-своему, нарезая соломкой, фирменная получается...

В те дни мы раз за разом просили Анатолия читать недавно им написанный стих «Фронтвик». Любопытнейшее в художественном плане стихотворение ещё царапало душу и злободневностью проблемы – «горел» Севастополь: взбесившиеся до безумия от оранжевого угара националисты Украины пытались выкинуть Россию из Севастополя.

И соседи давно уж не рады –  
Снова сдвинулся Ванька, дурит:  
Он костёр разжигает в ограде  
И кричит: «Севастополь горит!»

Урезонивать Ваньку без толку,  
В этот час его лучше не тронь.  
В белый свет он палит из дустволки  
И орёт: «Батарей, огонь!»

Он крушит что попало, неистов,  
По команде «В атаку! Вперёд!»  
Разобьёт подчистую фашистов,  
Севастополь России вернёт...

Успокоится,  
Баньку истопит.  
Но, друзей вспоминая, твердит:

«Севастополь родной, Севастополь...»  
Слышишь, друг, –  
Севастополь горит!

В Байболовке немало перебывало писателей, бесцётно раз бывал здесь и даже подолгу жил Владимир Крупин, гостил Валентин Курбатов, у которого оказался прекрасный музыкальный слух, заезжали поэты Александр Снитко, Фёдор Востриков, прозаики Татьяна Соколова, Иван Гурин. Приезжал сюда радиожурналист, заведующий редакцией художественного вещания Михаил Левин, записывал для областного радио звучащие из уст поэта живые стихи. Этому человеку писатели должны поставить когда-нибудь золотой памятник за ту работу на Пермском областном радио, которую проделал он, популяризируя многие годы творчество пермских литераторов. Работа Михаила Левина на радио – это целая эпоха в художественном вещании, он создал бесценную фонотеку, в которой хранятся живые голоса многих писателей нашего края. Так, 3 июля 2010 года (в день 105-летия со дня рождения) прозвучало в эфире интервью с Львом Правдиным, и шёл поразительно нужный сегодня, душестроительный разговор.

Однажды зимой три дня в Байболовке гостили мы с Владимиром Киршиным, который сопровождал наше «историческое» пребывание и общение в гребневских пенатах видеозаписью и прекрасной игрой на кларнете...

Наблюдая за жизнью Гребнева, я удивляюсь, когда он всё успевает. Никто в нашей писательской организации не читает так много, как он. Анатолий перечитывает классику, всегда следит за новинками в толстых журналах: «Нашем современнике», «Новом мире», «Москве» и других, в газетах «Литературная Россия», «Литературная газета»... Читает он быстро и усваивает прочитанное глубоко. Он писатель – по призванию, по образу жизни, и литература для него, конечно же, никакая не любовница (вспомним ещё раз слова А. Чехова), а – *мать родная*.

Гребнев никогда не превозносится своими достижениями в поэзии; зная себе цену, не страдает от высокого самомнения, он скромнен, умеет прислушиваться к чужому таланту и по достоинству оценить его и порадоваться. А умение радоваться чужому таланту – это большой и редкий подарок Божий человеку.

Древо поэзии Гребнева многоветвисто, могуче, а корни достигают самых глубинных пластов народной жизни. Древо сие формировалось и произрастало на протяжении всего творческого периода поэта; с простеньких поначалу стихов он поднялся до вещей, продиктованных исключительно масштабом его души, свидетельствующих о величии этой души, её болью за народ и Отечество. О том, каких размеров достигло древо его поэзии, на мой взгляд, свидетельствует главное стихотворение Анатолия Григорьевича «На берегу пустом»:

Болят моя душа в постылом отдаленьи  
От материнских мест –  
Уж столько лет подряд!  
И вот хожу-брожу  
В забытых снах деревни,  
Шатаюсь по лугам куда глаза глядят.

Стою, смотрю до слёз  
На синь озёрных плёсов,  
И упаду в траву,  
И памятью души  
Услышу перезвон весёлых сенокосов –  
Вот здесь, на берегу,  
Стояли шалаши!

Вот здесь, на берегу,  
Я костерок затеплю,  
Глаза свои смежу  
И в отблесках зари  
Увижу, как идут,  
Идут косою цепью,  
По грудь в траве идут враскачку косари.

А ведренный денёк  
Встаёт, дымясь в росинках.  
И далеко видать –  
Цветасты и легки,  
Пестреют на лугу платочки и косынки,  
А впереди – в отрыв –  
Идут фронтовики.

...Вот здесь, на берегу,  
В подлунном свете тонком,  
В кругу встречались мы, забыв-избыв дела.  
И краше всех в кругу была моя девчонка.  
Гармонь моя в кругу  
Звончей других была!

...Как отзвук жизни той,  
Которой нет успенья,  
Доносит до меня, не ведая препон,  
Под шелест камыша и волн озёрных пенье  
Молитвенный распев  
И колокольный звон.

И сердцем этот звон  
Вдруг радостно восхитишь,  
Воочью разглядишь – до камушка на дне:  
Звонит в колокола невидимый град-Китеж  
И главами церквей сияет в глубине!

Там всё родное мне!  
Вон мать идёт с причастья.  
Вон сверстники в лапту играют  
Под крыльцом<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Некоторых читателей, знакомых с деревенским миром только по книжкам, может сбить с толку выражение «играют под крыльцом», они могут воспринять это буквально, с недоумением: как можно под крыльцом играть в лапту, которая требует простора? Поэту предлагали даже заменить эти слова. Я склоняюсь к тому, что заменять их ни в коем случае не нужно, они живописуют языковую атмосферу, замена обеднит строчки. А вот пояснить через сноску можно, что имеется ввиду: «под крыльцом» – ниже крыльца по уклону.

А ближе подойди – расслышал бы сейчас я,  
О чём на пашне дед беседуют с отцом.

Он только что с войны.  
Он был убит под Ржевом,  
И на шинели след  
от пули разрывной.

Он с дедом говорит –  
Дед озабочен севом.  
И вот сейчас отец  
обнимется со мной!

И вся деревня здесь,  
И вся родня – живая!  
И вот уже поёт  
И плачет отчий дом!..  
На берегу пустом,  
лица не открывая,  
Сижу и плачу я  
На берегу пустом...

Это стихотворение, на мой взгляд, (да, думаю, что не только на мой) – вершина поэзии Гребнева, концентрация всего духовно-эстетического опыта поэта, в котором он запечатлел огромный мир, мир, который изменился, ушёл, исчез (подобно граду-Китежу) в короткий исторический отрезок времени. В это стихотворение он вложил все накопления души своей.

Поэт всеохватно представил в своём творчестве весь нравственный, мироощущенческий, эстетический, трудовой комплекс деревенского космоса. Разумеется, не замыкаясь только в нём.

Осмелюсь заявить, что до Анатолия Гребнева в поэзии никто так глубоко и всеохватно не сумел осмыслить и выразить в поэтическом слове распад и гибель Крестьянского космоса, который формировался, может быть, тысячелетиями (если смотреть в корень), а был уничтожен за каких-то, да, в общем-то, – полвека. Трагическое мироощущение уходящего деревенского мира, его бытия, жизни, уклада,

судьбы никто сегодня в поэзии не воспроизводит и масштабно не осмысливает. Да уже и не сумеет никто, потому что для этого надо и самому сформироваться в этом космосе, а его уже нет... И вершина этого осмысления у Анатолия Гребнева – стихотворение «На берегу пустом». Сказать словами великого Фёдора Тютчева, он «посетил сей мир в его минуты роковые...»

Он – последний поэт деревни. В том смысле, что с такой всеохватной глубиной и силой, с такой болью о деревенском мире, крестьянской цивилизации сегодня уже никто не пишет, и мир этот, погибший, повторяю, уже не в состоянии дать нового подобного певца. Причём, гибель, распад Крестьянского космоса не просто зафиксированы, запечатлены в поэзии Гребнева, но оплодотворены личной темой, личным участием и отношением масштабного таланта поэта.

Глаза свои смежу  
И в отблесках зари  
Увижу, как идут,  
Идут косою цепью,  
По грудь в траве идут враскачку косари.

Потрясающая воображение поэтическая картина, равная большому батальному полотну. Ведь идёт, шла, запечатлена на этом полотне битва за жизнь, которая Крестьянским миром, увы, проиграна, *по причине подлого предательства...*

Проиграна в силу того, что государство после катастрофы 1917 года оказалось для крестьянства страшнее татаро-монгольского ига для Руси и всех войн, вместе взятых за последние лет, может быть, пятьсот. Этого злого и невиданно преступного отношения родного государства к своему народу – народ не вынес: подорван оказался потенциал, и *Берег* опустел. Опустел закономерно. Рассыпался Крестьянский мир, как рассыпается с годами крестьянская изба, хозяйство, брошенное сыном, промотавшим огромное

наследство отца, добытое в поте лица тяжким, долгим и упорным трудом родителя.

Говорят, что колхозы сыграли положительную роль. Что-то мне сегодня не очень охотно верится в эту сказку. Говорят, помогли в войну выиграть её, снабжая страну хлебом. Помогли. Но какой ценой!?

И потом, что, если б не колхозы, так крестьянин, который до колхозов, до революции на земле работал с большей отдачей, потому что работал *на своей* земле и работал *на себя*, а не на «дядю», он что, лежал бы в войну на печи, ожидая, когда враги погубят его Отечество, сожгут родную хату, а семью угонят в рабство?..

Коллективизация сломала мужика, сломала ему хребет, а главное – психологию. Она уменьшила посевные площади. Да, крестьянин работал (но ведь – как?) в колхозе, потому что выбор у него был один, либо пулю большевистскую в затылок (или в лоб).

Вспоминаю то поколение моей родни... И думаю, если б не колхозы, деревня до сих пор жила... А они, то поколение людей, положили свою жизнь на бессмысленный колхозный рабский труд, в результате которого и люди надорвались и вымерли, и поля опустели и одичали... Победа – хуже Пирровой!

Я бы дерзнул назвать стихотворение «На берегу пустом» одним из лучших стихов на эту тему в современной поэзии. Но пусть это не вызовет лишь зависти. О, эту гадюку только впусти в свою душу – выест, выгрызет и сердце, и ум испепелит...

*Мы были в поездке по Пермской области, выступая на Днях литературы в Усолье, Березниках, – Гребнев, Калашников и я. И здесь, в Березниках, в гостинице, после напряжённого рабочего дня, 31 января 2001 года Гребнев прочёл нам это недавно написанное стихотворение. Мы с Юрой услышали его впервые, и, слушая, оба плакали. А потом наступило долгое молчание. До-олгое...*

Когда-то философ Иван Александрович Ильин – любимый философ Гребнева – сказал замечательные слова: «Иметь родину есть счастье, а иметь её можно только любовью».

Мне кажется, всё творчество Анатолия Гребнева – а с особенной силой стихотворение «На берегу пустом» – как раз подтверждает эти слова Ивана Ильина и свидетельствует об истинной и неподдельной любви поэта к родному краю, о верности ему и преданности *до мозга костей* – *прошу извинить за банальность сравнения, но оно точно передаёт глубину натуры поэта*. Сколько в его поэзии уважения к человеку труда земледельческого, к отчей земле-кормилице, к родной природе, питающей сердце поэта. Это дорогого стоит.

И не квасной трёхкопеечный патриотизм, свести к которому всё пытаются недоброжелатели, а опять же – прочувствованная и осознанная любовь к отечеству. Ведь у поэта не идёт речь о том, чтобы утопически вернуть ушедшее, тот мир, в который нет возврата. Он прекрасно понимает, что сие уже невозможно.

Более того, однажды он сказал, в глубокой задумчивости: «Деревня – это страшная штука!» И он совершенно прав. Мы её, деревню, порой идеализируем, а там и невежество, и деградация жуткая, и жестокость, и подлость – всё есть. Одни бессмысленные драки – деревня на деревню, село на село, район на район – чего стоят.

И мой «плач» по деревне проникнут этим же пониманием. Речь не о том, чтобы любой ценой вернуть невозвратимое. Речь – о другом, чтобы *зафиксировать, запечатлеть этот распад, разрушение, гибель, выразить своё отношение к ним, к людям, населявшим тот Космос, к их ценностям, мироустройству, к той жертве, которой они все стали. (Пожалуй, это пострашнее холокоста)*. Если мы не выразим такого своего отношения, то грех уничтожения крестьянства, применяя слова Святейшего Патриар-

ха Тихона, сказанные им по поводу расстрела Царской семьи, «падёт и на нас»...

Много лет я твержу, где только можно, что крестьянство – это *ноги государства*, что профессия хлебороба по значимости своей – *первая* среди всех прочих, что самая страшная трагедия в цепи трагедий XX века в России – разрушение Крестьянского космоса, складывавшегося веками.

И упаду в траву,  
И памятью души  
Услышу перезвон весёлых сенокосов...

*Памятью души* – вот чем написано это стихотворение. Памятью самой верной, безошибочной.

Можно написать великолепные стихи о городе, селе, селении, но если не ухватишь состояние души людей, здесь живущих, и стихи твои не лягут им на душу.

Родственник Анатолия, чистопольский житель, признаётся ему: «Стихи твои читать не могу. Я – реву!».

Если вчитаться поглубже в стихотворение «На берегу пустом», поглубже прочувствовать его, мы увидим потрясающе живые картины времени. Только серьёзная и настоящему глубокая душа способна создать такую масштабную вещь. Да, собственно, и понять её – тоже.

А от эпизода того, где лирический герой убитого под Ржевом отца видит его живым и беседующим с дедом – мороз по коже! Прочитирую его ещё раз:

Он только что с войны.  
Он был убит под Ржевом,  
И на шинели след  
от пули разрывной.  
Он с дедом говорит –  
Дед озабочен севом.  
И вот сейчас отец  
обнимется со мной!

По сути-то всё творчество Анатолия Гребнева – это *летопись души* поколения деревенского человека 41-го года рождения, поколения, потерявшего на войне отцов. И с этим чувством утраты, несостоявшегося прикосновения к таинству отцовской любви, не обретённых открытий в сыновней душе лирический герой дожил до наших дней, неся нелёгкое бремя осиротелой души.

Гребнев стал поэтическим голосом своего поколения. Он удивительно органично слит с народным мирозерцанием, которым пронизана стихия его поэтического слова, весь строй поэзии. Отсюда – высокая духовность созданных им произведений, образов, отсюда оценка их в координатах духовности.

...И мёртвым шелестом объятый,  
Уходишь ты,  
        потупя взгляд,  
пускай ни в чём не виноватый,  
но в чём-то  
        всё же  
                виноват!

И здесь поэт – прямой последователь эстетики А.С. Пушкина, завещавшего нам любить место своего обитания, родной очаг – «родное пепелище», любить историю, прошлое своего народа – «отеческие гробы».

Два чувства дивно близки нам –  
В них обретает сердце пищу –  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,  
По воле Бога Самого,  
Самостоянье человека –  
Залог величия его.

Животворящая святыня!  
Земля была б без них мертва... (А. Пушкин).

*Сердце, не напитанное этой любовью, остаётся пустым и бесплодным.*

Есть поэзия глубоких чувств, глубоких душевных, сердечных переживаний. Это невозможно ни скрыть, ни замолчать. И такую поэзию даже противники уважают.

А есть поэзия игры воображения и ума. Ею можно играть, тешиться, но в минуты потрясений душа к ней не потянется, как тянется к масштабной поэзии Анатолия Гребнева, Алексея Решетова или Валентины Телегиной, Николая Бурашникова.

Оставить после себя что-то значительное и полезное, что воздействовало бы на людей положительно, что заставляло бы их задумываться о серьёзных вопросах бытия, что являлось как бы *молитвой о твоей ушедшей из этого мира грешной душе*, – вот высшая награда писателю за его труды на земле, вот высшая его заслуга.

По сути, наверное, только те произведения и можно зачислить в разряд классики, которые при чтении вызывают подобную молитвенную (пусть неосознаваемую) память о создавшем их человеке.

Следует подчеркнуть, что поэзия Анатолия Гребнева очень христианская, ибо несёт в себе ту важнейшую черту нашей религии, которую отмечал в своих трудах критик Юрий Селезнёв, автор биографии Достоевского – *устремлённость к бескомпромиссной борьбе со злом...*

\* \* \*

Не раз приходилось слышать разговоры наших местных поэтов о том, кто талантливее: Решетов или Гребнев? И ответ всегда получается какой-то неопределённый. А я бы сказал, что вопрос о степени талантливости этих двух поэтов – в данном случае вообще неправомерен и некорректен. Они очень разные люди по социальному происхождению, выросшие в разной среде обитания и воспитания,

бытового и этического уклада (один в городе, другой в деревне), впитавшие разный опыт взаимоотношений, разную культуру и разные традиции. Они порождены и сформированы разными мирами и жили в разных мирах. В том поэтическом мире, который создал Гребнев, он не менее талантлив, чем Решетов в своём.

Решетов лирик, он доступен, пожалуй, более широкому кругу читателей. Гребнев, как я уже отмечал, преимущественно поэт Крестьянского космоса, а понимание последнего не всякому доступно, во-первых. А во-вторых, определённой частью демократической интеллигенции уже, можно сказать, веками культивировалось к крестьянину брезгливое отношение как к неполноценному, как к недочеловеку (не этим ли отношением и было подготовлено безжалостное уничтожение-то крестьянства?). Гребнев – эпичнее Решетова, размашистее, душа у него – нараспашку, в ней бурлит неукротимо народная стихия, в которой он вырос, которую впитал. Решетов – лиричнее, сдержаннее, замкнут в себе, философичнее, что ли, хотя и называл он себя, бывало, поэтом кабинетным.

Оба они очень талантливы, это два равновеликих таланта, но совершенно разной направленности, разной философичности. У них были у каждого свои симпатии и антипатии. Но – совпадало отношение к слову, ответственность за него и перед Богом и перед читателем. Цену друг другу они знали, и талант друг друга уважали по настоящему.

Однажды Решетов обронил в адрес Гребнева с внутренней грустью: «Ты своё главное стихотворение написал, а я нет...» Он имел ввиду стихотворение Гребнева «Метельный вальс», тогда ещё не было написано «На берегу пустом». Они не завидовали друг другу, и делить им было нечего. И доказательством степени уважения Гребнева к Решетову служит стихотворение «У памятника Алексею Решетову, поэту», которое писалось после того, как мы –

группа писателей – побывали в Березниках на открытии этого памятника 3 апреля 2005 года.

Признаться, с большим напряжением и недоверием ожидали мы, когда съёрнут с памятника покрывало, готовились к снисходительности: боялись разочарования, сумели ли скульптор запечатлеть, удалось ли ему передать черты и характер того Решетова, которого мы знали и помнили. Был слишком короток временной промежуток между смертью поэта и установкой памятника ему – два с половиной года. Случай, надо заметить, беспрецедентный (даже «солнцу русской поэзии» А.С. Пушкину памятник поставили только через 43 года после его трагической гибели). Тут березниковцы оказались уж просто молодцами!

Памятник Алексею Леонидовичу не разочаровал нас, а только порадовал, он оказался замечательным. Это была большая удача скульптора. Мы даже сфотографировались возле него на память, собкор краевой газеты «Звезда» Виктор Брандман запечатлел нас: Александра Снитко, Ивана Ёжикова, Анатолия Гребнева и меня. Тогда и родилось у Анатолия Гребнева просто великолепное, на мой взгляд, стихотворение:

Ну как не будешь огорошен,  
Когда ты видишь пьедестал,  
И вдруг на нём – твой друг хороший,  
Который памятником стал!

Но от ботинок до берета  
Он узнаваемо-родной:  
В руке дымится сигарета,  
Он только что из проходной.

Он отпахал ночную смену  
На солемельнице своей  
И, может, к Музе неизменной  
Хотел прийти домой скорей.

В пути настигло вдохновенье.  
На парапет присел слегка.

Что время? – Век или мгновенье,  
Когда рождается строка!

Не догорит окурок «Примы»  
И, как бывало, на двоих  
С тобою он на грудь не примет,  
И не прочтёт печальный стих.

Ты не мешай ему, не сетуй –  
Не до тебя ему, друг мой:  
Он занят долгою беседой,  
Беседой с вечностью самой!

После мы, писатели, не раз обсуждали это событие и сошлись на общей обиде за то, что Алексея Решетова у нас украли. Украли свердловчане, присвоили себе. И говорит этот факт об одном – об отношении в нашем крае к своему культурному достоянию. Горькое отношение! Как говорил Конфуций, «можно смотреть и не видеть». Так что поделом нам, поделом. Не умеем ценить мы по достоинству то, что может принести нашему краю подлинную славу... То, чем гордиться можно по праву, не опуская на суде Божиим очи стыдливо долу. Есть у нас любители высасывать из пальца мифы о Перми, но не желающие видеть её реальной и активной художественной истории...

*Литература края – это целый огромный мир, он складывался и заселялся постепенно людьми, которые оказывали взаимовлияние, создавали особую творческую атмосферу края. В конце концов, именно по этому вкладу и следовало бы определять место каждого здесь и место края в культуре страны.*

Решетов вырос у нас в крае, сформировался здесь как поэт. Родился он в 1937 году в Хабаровске, был привезён с Дальнего Востока в Березники Пермской области восьмилетним ребёнком и до 1982 года жил в Березниках, а затем тринадцать лет в Перми, до 1995 года. В Екатеринбурге он прожил всего семь лет (умер 29 сентября 2002 года). Но именно там он был «раскручен» после смерти как **их** поэт.

Свердловчане мигом выпустили прекрасный трёхтомник Решетова после его смерти, они даже годы проживания Решетова в Екатеринбурге приумножили близко к десяти. И теперь его слава работает на Екатеринбург, а могла бы приумножать культурную известность нашего края. Но у нас в *литературном отделе* краеведческого музея Алексею Решетову был отведён жалкий постыдный закуточек на одном из стендов. Впрочем, как и другим не последним писателям.

Точно такая же история произошла с Виктором Петровичем Астафьевым, который родился для великой русской литературы – тоже в нашем крае. Но здесь от него не осталось никаких экспонатов памятных. Ведь уже в 1960-е годы было ясно и понятно, *что* он представляет, с *кем* имеем дело. И уже тогда можно было собирать какие-то вещи, какие-то музейные экспонаты... Ничего! А вот в Красноярске ему посвящён целый музей – старинный особняк.

Правда, надо поклониться мемориалу «Пермь-36», сохраняющему память об Астафьеве, да нашим чусовлянам: они создали скромный дом-музей Виктора Петровича (правда, даже здесь не осталось ничего подлинного. Так и с Гребневым может получиться...) и поддерживают его, как могут, тоже берегут память о знаменитом писателе-земляке. А подобная память – это как плодородный слой земли, только произрастают на нём не хрен с редькой, которые друг друга не слаще, а – *души человеческие*.

В этом месте невольно вспоминается мне рассказ моего свояка Михаила Чудинова о том, как в 1956 году ему, пришедшему в первый класс, десятиклассник подарил (была такая замечательная традиция в их школе – десятиклассники дарили книжки первоклассникам!), подарил только что вышедшую книжицу Виктора Астафьева «Васюткино озеро». Всего-то сорок семь страниц с иллюстрациями. И свояк вспоминает, что первый раз он прочёл её и пропустил «мимо ушей», а когда позже начал читать второй раз – она

его поразила. И через пятьдесят лет он делает замечательный вывод: надо в прочитанное возвращаться ещё и ещё раз, только тогда открывается подлинная ценность его, открывается истина: Астафьев – это большой писатель.

Литературу надо изучать по столбовым именам. Именно художественные произведения, хорошая поэзия, хорошая проза воспитывают человека, помогают правильно формировать его душу, помогают через персонажи литературы найти человеку опору в реальной жизни. Но сегодня система воспитания литературой разрушена, тайна её уничтожена, увы. Литературе, не придаётся почти никакого внимания на государственном уровне. Дети перестали читать, телевизионное *лёгковидение* помогло сему, и это, конечно же, одна из причин духовно-нравственного оскудения нашего общества.

Вятка больше любит и ценит Анатолия Гребнева. В вятском крае он Почётный гражданин города Котельнича. Там к 65-летию поэта даже выпустили кружку с его портретом на фоне пейзажа и четверостишием из «Колокольчика вятского эхо»:

Где б я ни был, куда б ни уехал,  
Но, призывно и нежно звеня,  
Колокольчика вятского эхо  
Настигало повсюду меня.

Какое-то время, когда я ещё регулярно ездил в свою родную деревню Межовку, я всякий раз, уезжая из неё, вспоминал стихотворение Гребнева «В суходоле», в котором он затронул сокровенные струны моей души (только ли моей?), встраивая эту душу в историю, приобщая к истине (про что говорил Михаил Чудинов применительно к Астафьеву):

Что тебе в деревушке притихшей,  
Где твоя загорелась звезда?  
Тут уже ничего не попишешь –

В ней не будешь ты жить  
Никогда.

Что же трогаешь ты подорожник  
И колосья сжимаешь в руках?  
Ты уехать отсюда  
Не можешь  
И остаться  
Не можешь  
Никак!

\* \* \*

Когда 30 июня 2003 года в Пермском, тогда ещё областном, краеведческом музее открывали упомянутый выше литературный отдел на улице Сибирской, 15, я не смог быть на этом торжестве, уезжал на три дня в Кунгур, где собирал материал для книги «К Небесной пристани»... Но слышал невероятно возмущенные отзывы поэта Фёдора Вострикова, а позже Елены Рождественской и других людей, об этом отделе и его экспозиции. И естественно, что после таких нелестных оценок побывать там не очень-то меня и тянуло.

Но вот 30 января 2004 года, в пятницу, в актовом зале музея проходила презентация книги Владимира Киришина «Частная жизнь», на которую меня пригласила заведующая литературным отделом Наталия Леонидовна Нохрина. После презентации, пользуясь случаем, спустился этажом ниже, в отдел «Литературное Прикамье. XVIII – XXI вв». Познакомиться. На всех писателей, которые жили в Перми, создавая её литературный мир, отведено здесь было две комнаты. Тесноватая «коммуналка» вышла.

Как раз в этот момент преподаватель школы № 124 привела в музей учащихся 8-го класса, и Наталья Леонидовна проводила для них увлекательную экскурсию. Дети оказались совершенно нечитающие; что меня поразило, они даже Ивана Семёнова, самого известного персонажа из

творчества пермского детского писателя Льва Давыдычева, не знают...

Ну, иду я, значит, по второму залу, по двадцатому веку, осматриваю экспозицию, а Нохрина, увидев меня, тут вдруг и сообщает детям, что я один из писателей, представленных в экспозиции литературного отдела, и что она покажет им, где лежит моя книга, которая очень-де нравится ей. Естественно, я смутился, неловко, когда тебя начинают рассматривать, как экспонат, неуютно чувствуешь себя.

Однако книжку-то свою увидеть мне стало любопытно. Осмотрел всю экспозицию, но своё издание не нашёл; гадаю, что собирается она показывать детям, когда моих книг здесь нет? В экспозиции я не увидел и книг, представляющих творчество Ф. Вострикова, Н. Бурашникова, Т. Соколовой, Ю. Калашникова, В. Телегиной, а ведь её стихи могли бы потягаться, не ведая стыда, со стихами лучших ныне живущих поэтесс России. Да и остальные – далеко не пустое место в нашей писательской семье.

Оказалось, что куцые материалы о Ф. Вострикове, И. Тюленеве и обо мне размещены в небольшой витринке, которая приютилась в коридоре перед входом в литературный отдел. Потому-то я и прошёл мимо и не заметил, не обратил внимания, устремив взгляд на входную дверь с табличкой, да и мало ли **что** в коридоре может стоять, может, вынесли что-то ненужное... А вот при выходе *случайно* наткнулся. В этой сиротливой витринке увидел я свою неудачную салонную фотографию и две книжки: самую первую «Глухариное утро», изданную в 1987 году в Москве, и восьмую в ряду моих изданий «Старые русские», выпущенную в 2003 году в Перми.

Стало понятно, почему прошедшим летом был так возмущён Фёдор Востриков после открытия этого литературного отдела. Унизили!!! Да-а, вот уж уязвили, так уязвили, с изыском прям-таки иезуитским.

Ну не хватило нам, людям маленьким, места в зале. Область огромная, а зальчик-то крохотный. Но и в этом есть свой выигрыш: мимо нас проходят дважды, входя в зал и выходя из него. Ну и что, что не обращают внимания, главное – мимо проходят! Почти по Райкину выходит. Кто там, в коридоре, будет что-то разглядывать? В музее осматривают залы с экспонатами. Случай, в общем, получился просто анекдотичный, очень весёлый. До сих пор смешно.

Зато в тот вечер стихотворение родилось:

– Мы не вписались  
в этот круг  
И не вошли  
в когорту званых.  
Не то чтоб мы  
глупы, мой друг,  
А то, что мы с тобой –  
иваны...

И так далее, см. сборник: В. Богомолов. «По небу журавли плывут», 2009, стр. 162.

Литература в большом хозяйстве нашего края подобна дворняжке, до которой хозяину дела нет. Вот и бегают эта дворняжка, предоставленная сама себе, и питается тем, где что удастся ей урвать. Не гонят, не пинают – и то ладно.

Иногда от голода твякает и надоедливо скулит, и хозяин, или челядь, бывает, бросят кусок, какой под руку повернётся, чтоб отвязалась и не надоедала, да и люди не судили хозяев, что-де жестоки в обращении...

Ну а отдельные писатели, те вообще подобны блохам на теле этой собачонки. Вот такая картинка получается на сегодня<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> По информации ТВ от 10 января 2010 года, содержание одного заключённого в России **в месяц** обходится в 25 тыс. рублей. И невольно подумалось утопически, что если бы на каждого писателя нашей краевой организации выделили 25 тыс. рублей **в**

Думаю, что идёт это от недопонимания и недооценки пришедшего во власть и дирижирующего настроем жизни нового, слишком «продвинутого», с компьютеризированным сознанием поколения, уже не способного в силу этого оценивать роль и значение литературы в жизни общества...

Дерзну утверждать, что литература всегда играла в истории общества колоссальную воспитательную роль. Она в разные исторические периоды существовала в разных формах, но как словесное творчество существовала всегда. Это была форма накопления и передачи нравственного и духовного опыта существования и осмысления человека, его места и поведения в мире, природе и в мире себе подобных. Мифы, сказки, былины, предания, пословицы и поговорки, Священное писание... Словотворчество, встраивание человека в духовно-нравственные координаты произведения, в конечном счёте, встраивало человека в систему духовно-нравственных координат бытия.

Сегодня литература играет роль развлечения, лучше сказать – отвлечения от того, чем занималась всегда: изображением того, что делает человека *Человеком*; иногда шла от обратного: показывая, что делает человека – *нечеловеком*. Здоровая литература задаёт вектор, *созидательное* направление человеческому сознанию. Недооценивая её роль и значение в жизни, наши правители тем самым вольно или невольно взяли курс на дегуманизацию общества. Ну а отсюда пойдут, значит, многие беды, которые рано или поздно наведут на мысль возвращения подлинной литературы в жизнь, в образование. Только опять же какой ценой придётся это возвращать? *И главное, осталось ли для этого время?* Ведь если у Гомера были впереди тыся-

---

год (!) – на 40 человек это 1 млн рублей (или траты на содержание 3,3 зк), – мы могли бы выпускать ежегодно номер альманаха и несколько хороших книжек, которые могли бы работать на оздоровление общества... Могли бы, если бы не «бы»...

челетия, у Шекспира – века, у Достоевского, Чехова, Шолохова – десятилетия, то у нас, возможно, уже ничего не осталось... Конус временной спирали завершился.

*Но вернёмся к Алексею Решетову.*

*Грустное впечатление на меня произвела наспех и кустарно изданная тысячным тиражом в 2007 году книга воспоминаний об Алексее Решетове «Друзья расскажут» (кстати, датировка издания на обложке и внутри книги почему-то разная, а о датировке фотографий и говорить не стоит). И открывает её далеко не лучший материал и заканчивает – тоже. Они только опошляют и занижают образ поэта через такую сопричастность авторов к нему.*

*Здесь нужен был строгий отбор. Очень провинциальная поспешность в оценке получилась, в стремлении отметиться, застолбить свою клановую точку зрения. И каждый спешит примазаться к поэту на свой лад. Мне повезло, я не знал Решетова таким, каким его живописуют в своих воспоминаниях некоторые «друзья», безбожно лгущие о той близости, которая якобы была между ними... Конечно, есть в этой книге и очень достойные материалы, как Владимира Михайлюка и Надежды Гашевой, действительных друзей Решетова. К сожалению, великолепное стихотворение Гребнева о памятнике Решетову в книжку не вошло. А может, и к лучшему, что в **такую** книжку оно не вошло: невелика, пожалуй, была бы честь?..*

\* \* \*

Вообще проблемы писателей, издателей и культурной славы края – нерасторжимы. Когда-то Пермь гремела на необъятных просторах Советского Союза книгоиздательскими успехами. Именно тогда выплеснулась далеко за пределы нашей области известность таких писателей, как Виктор Астафьев, Владимир Воробьёв, Лев Давыдычев,

Лев Кузьмин, Михаил Голубков – ученик, ещё раз попутно заметить, Виктора Астафьева. Можно иметь таланту на семь пядей во лбу, можно работать в стол, заполняя один за другим его выдвижные ящики, но нет книг, значит – нет и писателя, его как бы не существует.

Вот пример. Я пришёл в одну библиотеку, далеко не последнюю в нашем городе, и в ней не оказалось ни одной книги Михаила Голубкова. Библиотекари (а работают там люди, верные своей профессии, работают по призванию) даже не слышали такого писателя. Мне стало так горько: ведь он умер всего двадцать с небольшим лет назад: в декабре 1988 года. В творческой жизни Пермской писательской организации Михаил Голубков оставил очень заметный след, и предан он забвению сегодня незаслуженно. Однако, чтоб поддерживать память о писателе, нужно хотя бы изредка переиздавать хотя бы самые лучшие его произведения... Увы. Нет в государстве системы выявления всего того лучшего, что можно заставить работать на его духовно-нравственное и культурное укрепление, без чего никакие технические достижения и материальные затраты, никакие нано-технологии не спасут народ от гибели, если не будет спасена от гибели основа народа – его душа.

Нынешний министр<sup>37</sup> культуры края Борис Мильграм (ставший для многих работников этой сферы – просто канареечным недоразумением) заявил на встрече с ним в январе 2009 года: «Мы никого не поддерживаем, мы – менеджеры». И вот этот «менеджер», который за шесть лет режиссёрской карьеры в столице поставил один спектакль, собрался «сперва преобразовать театр, затем площадь возле театра, затем – город вокруг театра и всё культурное про-

---

<sup>37</sup> Примечание от 25 декабря 2010 года: несколько дней назад, в связи с назначением губернатора Олега Чиркунова на второй срок, Б.Л. Мильграм пошёл на повышение, а министром назначен Николай Новичков.

странство»<sup>38</sup>. Могучий режиссёр! Чуть ли не у Николая Гоголя в «Мёртвых душах» встречается подобный прожектёр с фамилией тоже на букву «М». А другой крупный чиновник (Ш---кин) вторит ему, риторически восклицая: «Зачем нам *Пермская* литература? Её отсутствие что, нарушает права человека?» Как ни трудно поверить здравомыслящему человеку в такие абсурдные слова, но они прозвучали. По сути, эти «менеджеры» сняли с себя всякую ответственность за *корневую* культуру края. За преобразование не города и мира вокруг театра, а *души человека* в этом пространстве, которое без души стать культурным не может!

Не понимают они, что ли, что культура страны держится, как мост на сваях, на культуре регионов, на тех, кто здесь живёт, а не на тех, кто по этому мосту бегают...

Как сказал писатель Владимир Виниченко на заседании правления писательской организации 28 января 2009 года, власти культура не нужна, ей нужны «таблички»-бренды: вот «Камва», вот оперный, вот «Юртин», вот Иванов...

Ну что ж, власть, не нужна тебе литература, раскошеливайся, власть, на содержание экзов?!

– Помню, Олег Селянкин, я и Лисовенко, – вспоминает Анатолий Гребнев, – приехали выступать в Ординский район. Лидия Алексеевна, управляющая тогда культурой нашей области, вместе со мной идёт по полю, по стерне, в туфлях, чтобы представить меня людям, которые будут слушать мои стихи. – И Анатолий спрашивает меня: – Ты можешь вообразить, чтобы нынешний краевой министр культуры шёл по полю?!

– К народу? По полю? Нет, – говорю, – не могу!

– Вот и я не могу! – сокрушённо произносит поэт, недоумевая, до какой степени сегодняшняя власть оторвана от народа.

---

<sup>38</sup> Светлана Худеньких. Недорогой секрет успеха. Пермские новости. 2010. № 5. 29 января. С. 22.

По-моему, до поэта, который из самой что ни на есть глубины народа, ей дела нет.

Работа писателя очень специфическая – она занимает пространство его души все 24 часа в сутки. Она сопряжена с лишениями, с жертвой. И не может опираться только на энтузиазм сумасшедшего...

Сегодня ни в одной сфере деятельности человеческого духа не попираются так права человека, как права творческой личности. Уже почти двадцать лет нет закона о творческих Союзах. Пришедший в 1991 году к власти в России пьяный «гарант» – горькая насмешка Истории – отменил тогдашний закон, не предложив ничего адекватного...

Работа писателя не считается работой, ему не идёт за неё пенсионный стаж, потому что устроена она сегодня таким образом, что не даёт заработка, не приносит отчислений в пенсионный фонд. Творческие люди сегодня поставлены государством в положение «пыли». А как говорил выдающийся русский философ Иван Ильин, «пыль – это неустроенное множество..., это надвигающийся распад и разложение». Не настораживает?

Умные люди, люди мудрые понимают, что творчество – это не работа каменщика, который построил дом и все этот дом замечают, все *сразу* сознают несомненную пользу от него. А нормальный (со здоровым мироощущением) писатель *невидимо* помогает народу формировать ту атмосферу, про которую великий Фёдор Достоевский сказал: «Мир спасётся красотой». (Я бы сегодня ещё добавил – а погибнет от безобразия!) Но красота, разумеется, не сама по себе по некоей предопределённости придёт и спасёт мир, а – если *мы* будем её защищать, отстаивать, становясь её добровольными служителями, противопоставляя её телевизионной, эстрадной, виртуальной *бесогонии*.

Активная красота, деятельная красота спасёт мир. Увы, сегодня на творческих просторах России доминирует дух

разложения, и успехом наделяется тот, кто самозабвенно отдаётся и служит этому духу разложения. И уродливые, дегуманизирующие, «художественные» проекты Б. Мильграма и М. Гельмана «Бедное русское» и глумливый «Евангельский проект», размещённые в здании бывшего речного вокзала Перми, – только ярчайшее подтверждение тому.

Я уверен, что долго они на своих *доходных местах* не продержатся, сама жизнь выкинет их из кресел, ибо не может она существовать на этих разрушающих принципах... Но и за короткий период, судя по их деятельности, они могут наломать таких дров, что ситуацию после десятилетиями не выправишь, а, может, и – никогда... Помилуй Бог!

Как я уже обмолвился, в последние два десятилетия у Гребнева в Перми книг почти не выходило, издавались они в Москве да Вятке (исключением оказался лишь сборник «Берег Родины», правда, ещё раз акцентируем, два издания: в 2003 и в 2008 годах). И боюсь, что после неизбежного завершения Гребневым его земного круга и этого поэта у нас опять отнимут, причислят к Вятке. И останемся мы снова с одним Пастернаком, искусно, хотя и, по мнению многих, искусственно и до абсурда несоразмерно притянутым к Перми... Что, к сожалению, только дискредитирует поэта. Вот и памятник ему в Театральном сквере Перми уже установили... И ресторан «Доктор Живаго» открывали... Того гляди и Пермь переименуют в его романый город...

Бог с ним, с Пастернаком, к нему никаких претензий, в Перми он всё-таки побывал, когда проживал в нашей губернии пять месяцев и восемь дней<sup>39</sup>... Хотя и А. Чехов здесь трижды побывал, и М. Горький, и закованный в кан-

---

<sup>39</sup> Б. Пастернак жил во Всеволодо-Вильве Пермской губернии, как свидетельствует «Хроника Дома Смышляева», с 16 января 1916 года до 24 июня 1916 года.

дали Фёдор Достоевский (в жесточайшие январские морозы 1850 года) на сибирскую каторгу проехал по Перми, и даже ночевал в помещении конвойной команды (ныне это здание, многие годы загадочно реставрируемое и бесконечно переделываемое, находится на углу улиц Сибирской и Краснова). И второй раз побывал он в Перми, когда через девять с половиной лет возвращался из Сибири. Но имени Достоевского на карте нашего города нет. Хотя Фёдор Михайлович, в отличие от благополучных кабинетных вершителей судеб народных, заслуживает в отечественной культуре внимания гораздо большего<sup>40</sup>. Ну да Бог с ним тоже.

Обида берёт за другое: когда учащиеся Дягилевской гимназии, выигравшие в 2008 году грант, решили эти средства пустить на благороднейшее дело во славу города: изготовление и установление на ДOME писателей мемориальной доски с именами писателей, которые *жили и творили* в Перми десятилетиями, – так разгорелся целый скандал... И доску, 15 октября 2008 года уже установленную, хотели снять. А бурю возмущения некоторых людей вызвало то, что на доске, вопреки воле этих некоторых, было написано слово «русские»: «В этом здании в ХХ веке работали русские писатели...» Но разве их вина, писателей, что они были не «сомалийские»? Вот эти имена (по алфавиту), прославлявшие своим талантом наш город, наш край: Виктор Астафьев, Владимир Воробьёв, Михаил Голубков, Лев Давыдычев, Николай Домовитов, Лев Кузьмин, Лев Правдин, Владимир Радкевич, Алексей Решетов.

Случай, считаю, просто постыднейший, когда покойным писателям, беззастенчиво и вызывающе, можно ска-

---

<sup>40</sup> В ноябре 2011 года весь просвещённый мир будет отмечать 190-летие со дня рождения великого русского писателя и мыслителя Ф. Достоевского, так не стыдно было бы Перми – «центру мировой культуры» – поставить памятник и Фёдору Михайловичу, который русского человека прочувствовал и понял во всей глубине его души более всех других писателей.

зять, просто плюнули в лицо. Слово «русские» в те дни стало как красная тряпка для быка, готового в своей беспощадной свирепости наколоть на рога всякого, взявшего красную тряпку в руки. Конечно же, в такой атмосфере закономерно появление и торжество и «Бедного русского» (вот тут-то уж глумливые устроители к слову «русский» ни секунды не придирались) с «Евангельским проектом», закономерна и трагедия 5 декабря 2009 года в «Хромой лошади», унёсшая 156 бесценных человеческих жизней...

Татьяна Соколова, с мая 2007 года по июнь 2010 года вновь руководившая писательской организацией, как никто другой понимает масштаб таланта Анатолия Гребнева и значение его для писательской организации, она делала всё, чтоб его творчество получило адекватное признание здесь, у нас в Перми.

Талантливый и известный человек широкого мировидения, поэт Юрий Беликов (кстати заметить, тоже, как и Астафьев, Голубков, Селянкин, Курбатов, – выходец из города Чусового), много делающий для популяризации в России творчества пермских поэтов, прозаиков, да и других талантливых людей края, написал о Гребневе большую замечательную статью и накануне дня рождения поэта опубликовал её 20 марта 2009 года в самой читаемой и авторитетной в крае газете «Звезда», поставив попутно немало интересных, важных и острых вопросов существования культуры края.

В последние годы много сделала для популяризации творчества Гребнева и других писателей в учительской среде Пермского края, а значит, и на школьных уроках по литературному краеведению, Галина Васильевна Чудинова, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин Пермского краевого института по-

вышения квалификации работников образования<sup>41</sup>. По-  
дробному разбору, в частности, стихотворения Анатолия  
Гребнева «На берегу пустом» она посвятила целую статью  
в своей брошюре «Творчество пермских писателей и по-  
этов в школьном изучении. Методические рекомендации»,  
которая выходила в нашем крае уже тремя изданиями и ко-  
торую она выпустила опять же благодаря исключительно  
своему энтузиазму, и даже на личные деньги.

В Перми нет сегодня книжного издательства, которое  
проводило бы последовательную и квалифицированную  
работу с автором *от рукописи до книги*, а потому вал ку-  
старщины и графомании представляет подлинную, по сло-  
вам критика Владимира Якушева<sup>42</sup>, – *гуманитарную ката-  
строфу*. И, как крапива на перегное, прёт графомания, да  
такая, от которой приходишь просто в растерянность. На  
мой взгляд, она приобретает в наши дни специфическую  
форму *духовно-нравственного терроризма*.

Мне, как уже говорил, довелось несколько лет – на  
стыке 1970-х, 1980-х годов – поработать в Пермском книж-  
ном издательстве, я знаю, какого уровня квалификации  
трудились там тогда профессионалы: редакторы, художни-  
ки, корректоры – асы! Это была очень сильная школа, ко-  
торая, к сожалению, оказалась впоследствии полностью  
загублена, кадры растрашены... А ведь вырастить хорошего  
редактора или корректора – нужны годы и годы, и главное  
– *среда соответствующая нужна для подобного роста*,  
которая сама по себе формируется тоже долгими годами.  
Так вот, при наличии такой среды, работая в ней, хорошим

---

<sup>41</sup> В 2010 году кафедре «оптимизировали» и она прекратила своё  
существование.

<sup>42</sup> 26 июня 2010 года на отчётно-перевыборном собрании Перм-  
ской писательской организации В.В. Якушев был единогласно  
избран на должность председателя правления организации.

редактором можно стать не раньше чем через три года. Столько неуловимых тонкостей в этой непростой работе.

Сегодня книг в Перми издаётся много, графоманы несут их в писательскую организацию пачками. И так-то таланта бывает у автора с куриный носик, да ещё когда книга его издана на кустарном уровне, то уровень этот, бывает, напрочь уничтожает последние достоинства такого таланта, зато подстёгивает и возвеличивает в глазах автора его собственную ничем не сокрушимую *«гениальность»*. По-моему, у некоторых пробивных авторов – это даже какая-то совершенно новая разновидность душевного заболевания...

Институт – *автор, редактор, корректор* – сформировался в истории книгоиздания не из чьей-то прихоти, а по жизненной необходимости. Автор часто не может *изнутри* увидеть тех недостатков, а порой и уродств, в своём любимом детище-произведении, которые способен увидеть *со стороны* и подсказать редактор. Редактор же, погружаясь в содержание, порой может не увидеть и пропустить и букву недостающую в слове, и запятую. И только рукопись автора, пропущенная через редакторско-корректорское сито, становится настоящей книгой. Хотя, конечно, без опечатки книга – как женщина без родинки.

Да и сам автор, чьи книжки прошли через серьёзную и чуткую редакторскую проработку, начинает после совместной работы с требовательным редактором, поверьте, совсем-совсем по-другому относиться к слову: взыскательней и строже.

Анатолию Гребневу в этом плане повезло: он пришёл в литературу, когда в Перми как раз сложился в издательстве сильный редакторский и корректорский коллектив, который во многом своей силой обязан был главному его редактору Борису Никандровичу Назаровскому, а затем и не раз упоминаемому мной – Борису Гринблату, работавшему когда-то редактором многотиражки «Медик Урала».

Поэту посчастливилось, что некоторые его книги редактировал Борис Зеленин<sup>43</sup>, ровесник поэта, тоже потерявший отца на войне, человек, глубоко укоренённый в национальную культуру, тонко чувствовавший тот мир, о котором писал Анатолий Гребнев, из которого и сам Зеленин вышел.

Редким редакторским талантом, непостижимой начитанностью и эрудицией обладала Надежда Гашева, через чьи руки, глаза и ум прошло несметное число книг, выпущенных в Пермском книжном издательстве. Это её давнее высказывание привёл я о трёхлетнем профессиональном становлении редактора.

Кстати сказать, и добрым словом помянуть: мне не встречались больше корректоры такого уровня квалификации, такого корректорского таланта и чутья, какими обладала Лариса Константиновна Крамаренко – корректор-ас.

\* \* \*

В 2006 году Анатолию Гребневу исполнилось шестьдесят пять лет. Студенты Пермского государственного института искусства и культуры, будущие режиссёры театрализованных представлений, под художественным руководством доцента Евгения Соломенного подготовили спектакль по творчеству поэта-юбиляра. Вечер под названием «Шестигранник» состоялся в зале института 26 мая.

Здесь я приведу выдержки из своего письменного отзыва на этот спектакль.

«При кажущейся простоте творчество Анатолия Гребнева – весьма многомерно.

Если учесть, что восприятие стихов – дело интимное, требующее своеобразной “профессиональной” подготовки,

---

<sup>43</sup> Зеленин Борис Павлович, 14 февраля 1941 – 21 декабря 2010.

то подать стихи со сцены так, чтоб вызвать сопереживание зрителя, – очень трудная задача.

Студенты, по-моему, с нею справились замечательно, они проделали огромную работу по осмыслению творчества поэта, прочувствовали его стихи, положили их на свою душу. Именно в этом, на мой взгляд, причина удачи.

Спектакль получился динамичным, очень ёмким по содержанию и прочно соединённым внутри.

Ребятам удалось с помощью сценических приёмов показать всё многообразие, всю широту жизни лирического героя, мир, богатый и тонкими лирическими чувствами, и высоким гражданским пафосом, и широкою удалью русской души, человека Крестьянского космоса, представителем которого является и сам поэт...

Евгений Степанович Соломенный помог студентам прочесть Гребнева, понять и отобрать те грани его творчества, сценическое воплощение которых показывает нам, зрителям, развитие и восхождение лирического героя от босоного парнишки, бегущего русским полем, до мудрого созерцателя состояния сегодняшней России.

Каждая из шести граней спектакля – самостоятельная и цельная глава.

При довольно лаконичной внешней атрибутике студентам удалось передать внутреннюю глубину поэзии Анатолия Гребнева.

Получился при этом спектакль для всех возрастов. Я не видел в зале равнодушных и безучастных лиц ни среди студентов, ни среди людей среднего и даже почтенного возраста.

Верно передан дух Гребневской поэзии, энергия, стихия души автора.

Из всех спектаклей, поставленных Евгением Соломенным по творчеству многих пермских поэтов, очень хороших, которые мне довелось видеть в этом зале, данный спектакль, пожалуй, является вершиной.

В результате органичного соединения творчества поэта и творчества студентов получилось цельное и самостоятельное сценическое произведение, созидательное, живое, оптимистичное и светлое, с которым хоть сейчас поезжай на гастроли по городам и весям области, приобщая зрителя к духовно-эстетическому источнику, облагораживающему человека. Именно этого сегодня так нам всем не хватает – душевного благородства».

Гребнев удивительно одарён и самороден. Это очень широкая настоящая русская натура, богатая мирочувствованием своим. У него есть редкий дар – обаяние таланта. И благодаря этому дару и обаянию он в компании всегда в центре внимания; остроумие, чувство юмора, блестящая память на свои и чужие стихи, богатая биография, знание несметного числа песен, частушек, умение играть на гармошке и баяне ставят его в любой компании вне конкуренции. Несмотря на возраст, вопреки ему, Гребнев задаёт дух молодости, дух молодого восприятия мира, отношения к нему. И эта атмосфера творчески благотворна для тех, кто постоянно или часто общается с Анатолием.

Однажды сидим, выпиваем (кто без греха – пусть первым бросит камень), говорим о поэзии, вдруг, к слову, Гребнев читает Заболоцкого, пронзительные стихи, которых из его уст я до этого ни разу не слышал:

Где-то в поле возле Магадана,  
Посреди опасностей и бед,  
В испареньях мёрзлого тумана  
Шли они за розвальнями вслед.  
От солдат, от их лужёных глоток,  
От бандитов шайки воровской  
Здесь спасали только околודок  
Да наряды в город за мукой.  
Вот они и шли в своих бушлатах –  
Два несчастных русских старика,  
Вспоминая о родимых хатах  
И томясь о них издалека.

Вся душа у них перегорела  
Вдалеке от близких и родных,  
И усталость, сгорбившая тело,  
В эту ночь снедала души их.  
Жизнь над ними в образах природы  
Чередой двигалась своей.  
Только звёзды, символы свободы,  
Не смотрели больше на людей.  
Дивная мистерия вселенной  
Шла в театре северных светил,  
Но огонь её проникновенный  
До людей уже не доходил.  
Вкруг людей посвистывала вьюга,  
Заметая мёрзлые пеньки.  
И на них, не глядя друг на друга,  
Замерзая, сели старики.  
Стали кони, кончилась работа,  
Смертные доделались дела...  
Обняла их сладкая дремота,  
В дальний край, рыдая, повела.  
Не нагонит больше их охрана,  
Не настигнет лагерный конвой,  
Лишь одни созвездья Магадана  
Засверкают, став над головой.

1956

Такие стихи переворачивают душу!

Сколько ж он помнит хороших стихов?! Он – поэт, он – живёт поэзией, это форма и содержание его существования. И я думаю: писать – это значит владеть чувствами. И если ты не умеешь этого – ты не поэт, не писатель.

Очень важно верить в себя. Гребнев верил. Он в своих исканиях никогда не метался, потому что всегда был сердцем связан с народом, с малой родиной – самой надёжной опорой!

Много слов сказано на страницах книги о поэтической палитре Гребнева, но при этом я не коснулся его изумительно тонких стихов, посвящённых взаимоотношениям

мужчины и женщины, их нежным и глубоким чувствам – любви. Говорят, способностью поэта писать о любви определяется его степень таланта. Если это так, то и здесь у Гребнева степень очень высокая. Неспроста в книге «Берег родины» (2008 год, издатель Ильдар Маматов) любовная лирика представлена самым большим разделом «Этот свет негоревшей любви»: в шесть с лишним десятков стихотворений.

...А взгляд твой,  
Взгляд – родной и милый,  
Весь мир вместивший голубой,  
Я вспомню и перед могилой  
И унесу его с собой...

Или:

Не будешь ты моей судьбою,  
Но я люблю твои глаза,  
Как на качелях, я с тобою  
То вниз лечу,  
То в небеса.

На миг владея целым светом,  
Стараясь руки не разжать,  
Я обнимаю только ветер,  
Который мне не удержать...

Или вот ещё:

...Подбросим в белёную печку  
Весёлых берёзовых дров.  
А света нам хватит от свечки,  
А чувства нам хватит без слов.

Как отметила проживающая в Вятке культуролог, кандидат философских наук Наталия Злыгостева, тонкий ценитель и знаток поэзии Гребнева, не раз о нём писавшая, «в его стихах чувственный восторг соединяется с целомуд-

ренным любованием женщиной. На этой любви лежит отблеск вечного».

Замечательно сказано! Наталия Ильинична – это человек, который благожелательной критикой оказал очень сильную и эмоциональную и душевную поддержку поэту, можно сказать, она дала его творчеству новый импульс, которому поэт обязан многими прекрасными и тонкими лирическими строками. Да и для популяризации творчества поэта в вятском крае (как истинный патриот своего края!) Наталия Ильинична сделала неоценимо много. И стихи, созданные Гребневым в Перми, благодаря именно ей, лучше знают в Вятке.

Я бы заметил здесь, что поэтическая привязанность у Гребнева к Перми, а сердечная – к Вятке. Сын двух городов.

Озорное, весёлое стихотворение «В Котельниче на мельнице», которое и самому автору очень любо, на редкой встрече слушатели не попросят прочесть, потому что чувства персонажей стихотворения понятны каждому, затрагивают каждое сердце.

...Мельничиха выйдет павой,  
Сверху донизу «на ять».  
Перед ней – хоть стой, хоть падай –  
Всё равно не устоять!..

Геннадью Заволокину кто-то в Москве подарил книжку стихов Гребнева, тот прочёл, стихи ему легли на душу, на некоторые Заволокин написал музыку. Позже они с Гребневым познакомились и подружились, И Геннадий Заволокин большой цикл лирических стихов Гребнева положил на музыку, и теперь в своих концертных программах Анастасия, продолжательница дела отца – Геннадия Заволокина, исполняет эти мелодичные песни. Она и сама написала музыку на некоторые стихи поэта.

Известно, что Анатолий Гребнев – мастер экспромтов и создания неожиданной и оригинальной рифмы. Однажды

Владимир Крупин говорит, что у его жены, Надежды Леонидовны, такая машина, которую, Толя, уж хрен ты зарифмуешь: «Хонда».

Гребнев немного поразмышлял и выдал:

Куда идёшь?  
В Иерихон, да?  
Зачем пешком,  
Ведь есть же «Хонда».

И упомянут здесь Иерихон не просто для неожиданной рифмы, а и потому ещё, что Владимир Николаевич много раз побывал на Святой Земле.

Нередко, подписывая кому-нибудь свою очередную книгу, Анатолий делает это в форме шуточного экспромта. Вот, к примеру, что сочинил он коллеге – другу своему Георгию Иосифовичу Новикову:

Я не забыл тебя, Георгий –  
И, чтоб былое вспомнить,  
(Покуда я ещё не в морге) –  
Хочу с тобой принять на грудь!

А вот интересная надпись на книге, подаренной в 1991 году Ивану Фёдоровичу Обросову, заведующему кафедрой усовершенствования врачей психиатров, тогда доценту, а ныне профессору, замечательному и умному лектору:

Не береги больную душу,  
Не ставь диагноза сплеча –  
Сначала лекции прослушай  
Ивана Фёдоровича:

И у последнего невежды  
Не все потеряны надежды –  
Поскольку даже из отбросов  
Рождает гениев Обросов!

Однажды после спонтанного писательского застолья Толя берёт с тарелки большую красивую грушу, просит

передать её моей супруге в подарок и тут же выдаёт экспромт:

И Парис погубил свою душу,  
И вскипела у Трои война...  
Я Елене дарю эту грушу.  
Лишь за то, что Витале верна!

Дружба с Гребневым лично мне очень много дала, она раздвинула границы моей души. Это человек, не боюсь повториться, очень широкого диапазона, человек *мыслящий* (качество редкое), натура широкая, с юмором, он весельчак, с удивительной памятью на стихи (даже многие свои посвящения Анатолий Гребнев помнит десятилетиями), оптимист, талантливый, щедрый...

В общем, у него есть чему поучиться.

Гребнев – это всегда особая атмосфера, это искромётный талант, это импровизатор и генератор хорошего настроения. В нём – широкая душа, бесшабашность и удаль, редкая, подлинная, но – вымирающая, русская удаль, обогащённая духом среды и времени.

Он уникален и неповторим не только в нашей организации, а и в масштабах России. По той атмосфере, которую он задаёт, тоскует даже живущий далеко от Перми – в Москве – Сергей Небольсин. В «Литературной России» № 4 за 2008 год он пишет, сетуя: «...Нет Старшинова; нет в доме и гармошки – и всё ждёшь, что придет и потешит тебя ею вятский человек хватский Толя Гребнев, поэт-психиатр-виртуоз:

Всё продам – гармонь оставлю»<sup>44</sup>.

Я сказал, что, раздаривая друзьям свои книги, Анатолий старается оставить на них оригинальные, памятные

---

<sup>44</sup> С. Небольсин приводит здесь не совсем точно строчку из стиха А. Гребнева «Гармонь», в котором поэт цитирует частушку: «Всё пропью, гармонь оставлю!» – /Запевай, мой старый друг.

надписи, очень часто стихотворные. Но и у него самого – целая библиотека книг с дарственными дружескими надписями таких писателей, как Дмитрий Ковалёв, Борис Ручьёв, Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир Крупин, Анатолий Заболоцкий (книга о Василии Шукшине «Тяжесть креста»), Виктор Лихоносов, Пётр Краснов, Юрий Кузнецов, Анатолий Жигулин, Виктор Коротаев, Леонид Дьяконов, Вадим Кузнецов, Алексей Решетов, Владимир Скиф, Николай Домовитов, Владимир Радкевич, Нил Гилевич, Владимир Ситников, Алексей Вульф, Юрий Лошиц, Леонид Шкавро, Николай Рачков, Александр Кердан, Василий Юровских, Владимир Архипов, поэт протоиерей Леонид Сафронов, поэт протоиерей Андрей Логвинов и многие, многие другие.

Вот лишь несколько надписей на подаренных книгах:

«Анатолию Гребневу, близкому мне человечески и по сути поэтической. Пусть только всё лучше пишется, широко дышится, горячее любится и – всё задуманное сбудется. Дм. Ковалёв. 21 октября 1972, Москва».

«Толе Гребневу – прекрасному русскому поэту – на дружбу Вадим Кузнецов. Москва, 19 марта 1976 г.».

«Толе Гребневу с поклоном и любовью. В.Астафьев. Пермь, 8 апреля 1980 г.».

«Анатолию Гребневу с надеждой на то, что выживем, выберемся из всех передряг и что-то полезное ещё сделаем.

Дружески В. Распутин. Декабрь 1984».

«Дорогому Анатолию Гребневу – с чувством доброго совпадения наших сердец и извилин... Сердечно В. Коротаев. 12 марта 1989. Вологда».

«Дорогому Анатолию Гребневу с самыми добрыми пожеланиями! Обнимаю! Анатолий Жигулин. 24 сентября 1989 г. Переделкино».

«Толе Гребневу дружески и с любовью и к стихам его, и к другим его завидным талантам. Ноябрь 1997. Вятка. В. Распутин».

На книге В. Белова «Пропавшие без вести»: «Дорогой Толя, эта книжица предназначалась Солженицыну, но я передумал и посылаю её тебе... (неразборчиво), время основное трачу на драку (неразборчиво) и сепаратниками. Правда, делаю сейчас «Час шестый», но и там больше этнографии, публицистики. Будь здоров! Пиши стихи! Белов».

Надпись кинооператора Анатолия Заболоцкого на совместной с Василием Беловым книге о В. Шукшине «Тяжесть креста»: «Толе Гребневу кланяюсь, вспоминая поговорку, любимую В.А. Солоухиным: “У каждого у нас по горю, но не поровну”. А.З., май 2003 г.».

На книге «Письма из глубины России»: «Толе Гребневу – с давней нежной благодарностью за чудный поэтический дар, часто спасавший и меня, грешного, и так радовавший Виктора Петровича. В. Курбатов. Пермь, 12 мая 2003».

Он же на книге «Перед вечером, или Жизнь на полях»: «Вечер уже, Толя, вечер, а не перед вечером... Но мы ведь и при закатном солнце не о закате же думаем, а о свете и красоте.

И пусть оно так и пребудет!

В. Курбатов. В Перми 30 ноября 2004».

«Анатолию Гребневу – поэту номер один на земле пермской, поэту не Прикамья, а Всея Руси, человеку широчайшей, весёлой, истинно поэтической души.

Дружески Александр Снитко. 18 марта 2004».

А вот надпись Алексея Вульфо́ва на книге, посвящённой светлой памяти композитора Георгия Свиридова, «Теперь лишь вспоминать»: «Дорогому Анатолию Григорьевичу Гребневу от любящего автора с большой симпатией и самыми светлыми чувствами; всего Вам самого хорошего, Поэт!

Нам есть что вспоминать о дивных днях в Иркутске!

А. Вульфов. 8 октября 2004».

«Дорогому Анатолию Гребневу – учителю от ученика! Александр Кердан. 4 декабря 2008».

«Замечательному русскому поэту, чьи стихи давно люблю, Анатолию Гребневу – дружески! Николай Рачков. 4 декабря 2008».

Владимир Крупин на книге «Босиком по небу», написал своему другу на Крупинских чтениях, проходивших 28–30 мая 2010 года в Кильмези Кировской области, на родине прозаика: «Заиграла хроматическа в отеческом доме. Это Толя так играет, по душе и по уму.

Милый Толя, благодарность моя тебе ничем невыразима. Много ты дал мне как писателю, брату, другу, крестному отцу. Обнимаю! В родительском доме».

\* \* \*

В наших разговорах Гребнев не раз подчёркивал главное в крестьянстве на его родине – **нравственность народную**; что самое важное, чему научился у этого народа в круговороте повседневной его жизни, что почерпнул о нём, – это знание о нравственности народной, глубинной, которая живёт независимо от тех картин крестьянской жизни, которые не всегда вписываются в интеллигентское определение нравственности. Знание о той нравственности, без которой, я думаю, народ не вынес бы на плечах народных своей нелёгкой истории, своей великой истории.

И вот, работая над статьёй о рассказе Василия Шукшина «Сураз», я 22 февраля 2009 года натыкаюсь на когда-то давно читанное высказывание Василия Макаровича: *«Когда я хочу точно представить, что же особенно прочно запомнил я из этой жизни, которую прожил на родине в те свои годы, в какие память наша, особенно цепкая, обладает способностью долго удерживать то, что её поразило, то я должен выразиться громоздко и несколько неопределённо, хотя для меня это точность и конкретность*

*полная: я запомнил образ жизни русского крестьянства, нравственный уклад этой жизни...»*

Какое невероятное совпадение двух разных талантов, но вышедших из одной народной среды, из русской крестьянской глубинки, разделённой между собой двумя тысячами вёрст: Алтай и Вятский край. Тут есть чему невольно удивиться.

Август 2008 – декабрь 2010,  
Пермь



ную сложность без каких-либо умозрительной сухости, однородности.

И сам он, находясь под родительским кровом, – очевидно, вернувшись сюда ненадолго! – испытывает «бестревожный на сердце покой», а все же не забывается ему «время, бешеное время», которое «здесь, кажется, забыло о себе»... Но ведь оно названо, упомянуто – значит, вошло в стих, присутствует в нем.

Слишком чуток, отзывчив поэт, чтобы удовлетворяться изображением того, что ему видно и слышно. Духовным зрением и слухом он воспринимает неизмеримо больше, и оттого ему «ясно до боли уже больших перемен приближение в погоде, в природе, в душе», оттого и родное «задремавшее село» встает «посередочке России», оттого и находясь вдалеке от родных мест он срывается и едет – «в деревню за Волгой-рекой»...

Особого рода ностальгия ведет его туда – неодолимая сила «у братской безмолвной могилы рывком остановит» его, память о погибшем отце не даёт ему покоя. В нравственной биографии и этого молодого поэта война оставила свой след, вот и нужно ему сказать о солдатских вдовах, для которых «еще до сих пор ничего, ничего не забылось», о соловьях, гремящих в рассветной редееющей мгле над братскими могилами, о лаптях, что нашивал он в трудные первые послевоенные годы. Характерные, о многом говорящие судьбы, действия, подробности жизни... <...> Одна из миллионов рабочих, крестьянских семей, одновременно и типическая, и неповторимая, здесь запечатлена в элегической автобиографии, позволяющей понять происхождение не только самого поэта, но и его стихов, прозрачных и глубоких...

**Станислав Золотцев.** Из книги «Нет в поэзии провинции» (Москва, «Молодая гвардия», 1986).

Анатолий Гребнев пишет в «Неубранном хлебе»:

Винить-корить природу мало проку,  
и не ее за это я виню,  
но хлеб под снег уходит на корню –  
ударили зазимки раньше сроку!  
А между тем – дожди ливня – и сплошь  
комбайны в полевом болоте вязли...  
Но все равно, помыслить можно разве,  
чтобы погибла этакая рожь?!  
И все сильнее, рядом и вдали,  
перехлестнув пурги многоголосье,  
качаясь, в тяжкий колокол земли  
глухим набатом бьют и бьют колосья.

Здесь явственно продолжение «твардовской» традиции, в основе которой – личная ответственность художника за всё, что творится на родной земле. Тем более на хлебном поле, от которого мы все зависим и в век «объемно-космического мышления». Извечное, крестьянское беспокойство за судьбу хлеба в душе поэта, сельского врача, гражданственность сегодняшнего литератора нашли свое органичное воплощение – и мысли и стилистика Гребнева опираются на прочную почву традиции. Эта традиция, заложенная Некрасовым, Кольцовым, Никитиным, исходит не только из народной речи, но прежде всего из естественного отношения к земле не как к «храму» и не как к «матерской», а как к кровной родной стихии, к матери-кормилице, воздающей сторицей за труд, неразрывной с трудом и ежедневным бытием, с «ладом», с устоями, вырабатываемыми веками...

В стихах Гребнева эмоция и мысль проецируются на черты и реалии сельского труда и быта, лица родных и близких в окружении неброской северной природы, биотоками проходят сквозь мир леса, поля, луга, всего зеленого

животворного царства, оставляющего прочнейший след в душе жителя последней четверти столетия, становящегося все более необходимым ему...

**Валентин Курбатов.** Из статьи «Улавливая дрожь земли» («Звезда», 1991, 21 марта).

Пермский поэт вятской крови Анатолий Гребнев находится в высоком ряду тех крепких имен русской поэзии, творчество которых стало альтернативой искусственному беспамятству и отвлечённым «общечеловеческим ценностям». Они, конечно, «поопоздали» с формированием, но опоздали потому, что сталкивались в первую голову не с проблемами поэтики, как их благополучные городские коллеги, а с тем, как в расшатанной жизни определиться и работу дельную найти...

Но дело вовсе не в биографии, а в той живейшей природной слиянности с родной землёй, которую не сочинишь, и которая только в деревенском поэте по-настоящему подлинна и естественна. Много можно было бы цитировать этих признаний родимой стороне – и исторических хроник, и военных воспоминаний детства. Но мне хочется, не раскидываясь мыслью, взглянуть только в те пределы, куда мы в юбилейные для поэтов дни не заглядываем – в темы любви и смерти. Они обнаруживают поэта вернее всех критических деклараций. Тут за риторику не спрячешься. Именно в таких «частных» чувствах общее-то, народное, лучше всего и проявляется, словно до осторожного рассудка сама кровь проговаривается. И сама любовь эта всегда, в отличие от городских тонкостей, как-то просторна, открыта, полдневна, напоена «всем трепетом юного пыла, огнем всех прошедших веков» и настигает молодых людей не в тесноте танцплощадок и подъездов, а среди лета и трав...

Уже не жѐг, а нежил зной.  
В разлужьях травы пьяно никли.  
И на прогалине лесной  
Мы смяли клевер с земляникой...

Любящим сердцем смерть переживается больше, она будто оборот любви, спутница ее неизменная. Ее первый оклик он отметил рано и сразу пронзительно:

Помню, в детстве упал я в траву  
И, впервые,  
В беспомощном плаче,  
Содрогнулся душою ребячьей:  
Я узнал, что я тоже умру.

Поседел я теперь, но однако,  
Горе горькое знавший не раз,  
Я бы снова об этом заплакал,  
Но уже  
        не умею  
                        сейчас...

И, может быть, именно от этого острого чувства, от слишком послушного воображения, он особенно горестно переживает смерть своих друзей, каждого провожая стихотворением, избывая в стихах детское смятение от сознания своей смертности. Вот он прощается с писателем И. Байгуловым:

...Гляну в узкую тесную тьму –  
Разве мыслимо там оставаться,  
Остаться совсем одному?

Это так по-детски, но и так верно: живая жизнь невольно примеряет одежды смерти и самозащитно отшатывается – как там одному? Он приходит навестить писателя М. Голубкова, уже пряча от друга знание диагноза:

Еще звезда его сияет,  
Но бездна мрачная зияет...

Как-то так вышло, что я их всех знал – тех, с кем прощается Гребнев, и оттого стихи ранят меня, разделенные сердцем до звука...

С каждым из друзей уходит что-то невосполнимое и из твоего сердца, словно смерть норовит охладить это сердце до срока. Да только разве может она это сделать, разве по силам ей тягаться с чудной силой родной земли, крестьянской становой жилой, которой крепится поэт к России?..

На изощрённый «чистой» словесностью слух тут, возможно, все очень традиционно, слишком далеко от страстей дня, почти архаично. И сегодня эта ветвь поэзии как никогда отодвинута в провинцию литературы, но именно она несуетной последовательностью своего дела хранит русское слово и сердце в здоровой силе и чистоте.

**Станислав Золотцев, Москва.** Из статьи «Созидание словом. О новой книге стихов Анатолия Гребнева “Возвращение”» («Звезда», 1991, 1 апреля).

Она оказывается для тебя не просто очередной по счету книгой, но – новой ступенью его художественной работы, новым горизонтом его зрения, новым шагом вперед в осмыслении нашей трудной и многосложной действительности. Поступком поэта...

В настоящей (не официально-лакировочной) поэзии 70-х не было «застоя». Не могло быть! Лучшие из представителей российского стиха, в особенности те, кто вступил в этот «задорный цех» (по выражению Пушкина) с желанием преобразить мир Словом, не давали «душе лениться» – это уже из Н. Заболоцкого, поэта близкого автору «Возвращения», – стремились выразить в своем творчестве многие проблемы и духовные коллизии времени и общества, заглянуть в глубь истории и провести «красную нить» от нее к грядущему...

Художник пришёл к тому пределу своей творческой жизни, когда ему стало окончательно ясно: он уже не имеет права не говорить о главном:

Нет, не жить и не быть мне  
Без берега с радостной пристанью!  
Здесь истоки мои,  
Здесь глубинный мой корень родства!  
Это право на песню я вместе с деревнею выстрадал,  
Это право – сказать из-под самого сердца слова.

Такое право, действительно, надо выстрадать, и когда я читаю незнакомые мне стихи, новые произведения своего пермского товарища в книге «Возвращение», преисполняюсь верой: он выстрадал это право...

**Валентин Курбатов.** Из статьи «С тем и поживем» («Славянский вестник» 1991, № 5).

...Просто на долгое время, на годы и десятилетия мы оказались без литературы в ее народно полном разумении, вернее – без народной ветви в общекультурном древе. Город узурпировал духовную и идеологическую власть, сослав деревенскую ветвь поэзии в «песню по заявкам», где мы могли слушать «тексты» Прокофьева и Фатьянова, Яшина и Тряпкина как нечто заранее внесовременное и идущее по какому-то иному ведомству, чем литература.

Собственно «литературой» были «звёздные мальчики», интеллектуальная и производственная проза, городская поэзия (равно «ангажированная» и диссидентская). Литературой были Гранин, Бабаевский, Чаковский, Марков, Дудинцев, Булгаков, Симонов (я нарочно сбиваю ряд, потому что дело не в исповедуемой правде, а в фундаменте – литература была явление идеологии, хотя бы и взаимоисключающей).

А вот когда появились Абрамов, Астафьев, Белов, Распутин и соответствующий ряд прозаиков поменьше даром, но той же направленности, когда в поэзию пришли Прасолов, Рубцов, Передерев и опять прекрасный ряд попутных имен, начало складываться нечто качественно новое, чего мы, кажется, и сейчас еще как следует не обдумали, и что ретивые молодцы вроде своего Вик. Ерофеева и наемного А. Гениса принялись под шумок порочить и отпевать как несбывшееся и изглаживать из памяти, чтобы вернуться на прежние удобные стези литературы как «чистого искусства» или идеологии. Да, только уж, пожалуй, теперь не выйдет, несмотря на тяжелую артиллерию иронии. Можно порочить Белова и Распутина, помалкивать о Рубцове и Прасолове, но уж ничего нельзя сделать с мощной, счастливо разросшейся плеядой памятливых людей, которые хоть и сверстники состарившихся «звёздных мальчиков» и гордых своими «идейными страданиями» шестидесятников, но стократ старше и умудреннее душой.

Родная земля словно опамятовалась и разбудила своих долго поспевающих детей, и вот они-то теперь и стали внезапной альтернативой искусственному беспамятству и отвлечённым «общечеловеческим ценностям», они-то и напомнили, что эти ценности ходят все-таки в национальных одеждах. Они плохо приживаются в столицах и предусмотрительно не живут в них, хотя часто уже оторваны от деревни, но они переживают эту оторванность с чувством непоказной вины и постоянного, иногда оплаченного страшной тоской покаяния. Скажу ли о Г. Ступине, В. Башунове, М. Вишнякове, В. Коротаяеве, А. Романове, Т. Смертиной, О. Фокиной – они подлинно во всяком углу нашей земли теперь есть, и это лучший залог необратимости нашего так долго безгласного «просторечного» сознания. Это «провинция» русской поэзии, но провинция, равная России за кольцевой дорогой Москвы. Она на глаза не так часто попадает, как московские насельники, но когда

мы говорим о почве не в умозрительно начитанном разумении, а именно как живой духовной «земле», мы говорим о ней.

И я с радостью называю в высоком ряду этих крепких имен пермского поэта вятской крови Анатолия Гребнева. Все они в основном средневеки... Они, конечно, «поопоздали» с формированием, но опоздали потому, что сталкивались в первую голову не с проблемами поэтики, как их благополучные городские коллеги, а с тем, как в расшатанной жизни определиться и работу дельную найти. Анатолий стал участковым врачом в том земском разумении, которое и теперь еще держится в деревенских лекарях...

**Наталья Злыгостева.** Из статьи «Живое его волшебство» («Вятский край», 1991, 14 августа).

«Храм» – название кому-то покажется претенциозным, кому-то в наши дни расхожим и затертым, но все-таки никакое иное слово не определяет так полно содержание сборника, его суть и смысл.

Для поэта храмовость – понятие не внешнее, но внутреннее, интимное, оно определяет строй его духовного бытия, ориентированного на вечные, а оттого предельно простые и безыскусные истины: веру, любовь, надежду...

Стихи Анатолия Гребнева пробуждают в нас то, о чем мы за делами и сутолокой почти забыли, – душу. В них нет лишнего и случайного даже тогда, когда речь идет, казалось бы, о самых случайных, простых и обыденных вещах. Поэт относится к слову трепетно и бережно, раскрывая через него окружающий мир и свое отношение к нему. С присущей ему мягкостью, лиризмом и добротой. Нигде не изменяет он выбранной интонации, о чем бы ни говорил: о матери, о родине, о друзьях, о любви.

Родина для Анатолия Гребнева – не понятие, не символ, ощущение своей кровной духовной связи с прошлым и настоящим, с далеким и близким, с радостным и трагическим бытием своего народа. Поэтому в сборнике так много стихов о родных поэту местах, о людях, когда-то там живших и живущих сегодня. Об их нелегкой судьбе и о своей вине перед ними, перед оставленной родной деревней...

В каждой строчке поэта видна чистая, открытая и любящая душа. Удивительны его стихи о любви к женщине, в них не только восхищение ее красотой, природным женским естеством, таинственным и тревожащим, но и нежное щемящее жаление...

И, может быть, еще одно чувство, почти утраченное в современной любовной лирике: бескорыстное и преданное преклонение перед Нею, родной и единственной, с кем навечно слилась и соединилась душа. Чувство, над которым не властно ни время, ни пространство, ни случайные, пусть и прекрасные, увлечения, ни обстоятельства. О нем строки поэта:

Ты, как ангел, встаешь за плечами.  
Ты вдали от меня. Мы вдвоем.  
И сырые поленья печали  
Занимаются в сердце моем.  
И сгорают дотла. И в загнете  
Только угли надежды в золе.  
Ничего, что тебя со мной нету.  
Хорошо, что ты есть на земле.

О чем бы ни писал поэт, он во всем раскрывает себя еще и как подлинно русский человек, в самом лучшем значении этого слова.

Его душевному и поэтическому строю свойственны глубина и откровенность, сердечная щедрость и высокая культура слова, радостное и чистое восприятие людей и мира...

**Валентин Курбатов.** Из статьи «Как вчера, как завтра» («Литературная Россия», 1997, № 6, 7 февраля, с. 11).

Первой словно сама вышла навстречу книжка А. Гребнева «Колокольчика вятского эхо»... Я давно знал Гребнева и любил его румяную кустодиевскую музу, которая не могла да и не хотела прятать свою деревенскую породу, зная, что полушалок ей больше к лицу, чем ложнофранцузские шляпки. И тут, слава Богу, муза не менялась и опять звала поэта домой, в родное Чистополье («Ведь лучшее лекарство от тоски –дохнуть дымком отеческой сторонки»), в детство («Сплю я в сене, и чудится: где-то голубой колокольчик звенит»), в беспечную юность с гармонью, счастливым морозом, вечностью впереди («...а пока заливайся, гармошка, – ты любовь и невеста моя»), в ту чудную полноту, где мир еще цел, и он весь твой, и все в нем родным-родное, свое, готовое оградить и спасти тебя:

что нам в жизни-то надо, мой друг:  
наша родина, слева и справа,  
и распева родимого звук!

А только покоя-то уже нет и в самых как будто еще беспечных стихах, и трещина все ширится и не дает обмануть себя – муза еще тянет за рукав, а уж поэт пожил и знает, чем все кончается, и уже не может кинуться в минувшее без оглядки:

Видно, так все и будет тянуть  
в эти милые сердцу пределы.  
Будто можно хоть что-то вернуть,  
что уже навсегда пролетело.  
Будто можно вернуться туда  
и зажить, как жилось, без заботы...

Это остужающее «будто» придает всему сборнику тонкий оттенок печали, утраты, невозвратности света. И впер-

вые как-то навсегда ясно станет, что тут обрыв глубже одной судьбы, что вся русская лирика, с Есенина оплакивающая деревню, сказавшая столько горестно-прощального в стихах А. Прасолова, А. Передреева, Н. Рубцова, кажется, не с одной деревней прощается. Похоже, что тут больше слышен гоголевский томительный вопрос: «Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами?» И стихи-то потому и отзываются во всяком, даже и не ведающем деревни сердце, что не в ней дело – не в сенокосах и детских рыбалках, не в материнской защите и долгих вечерах за околицей, а в том, что там, в том возрасте человек еще помнит небесное отечество, что там у него Христос в душе (даже у самого раз-атеиста), там рай, там бесконечный день, который так страшно заканчивать вечером (мам, можно еще пять минут?), словно завтра уже ничего не будет, а все только и навсегда теперь и здесь. Это воспоминание не о земной, а о небесной родине. Откуда лета и разум уводят без возврата. Это не вятского колокольчика эхо, а гоголевского и рубцовского – именно русского, небесного, Христова. Отчего и свет, и любовь, и печаль...

**Валентин Курбатов.** Из эссе «Высокие облака» (День и ночь: Альманах. Красноярск, 2002).

...Милые мои поэты, далекие друзья мои, как вы переносите этот вечер? Я не пил из кастальских ключей, и то чувствую немое томление по слову, которое обняло бы это долгое падение капли, это краткое мгновение, полное мучительной тишины мира...

А Толя Гребнев, поди, вернулся в своей пермской Байболовке с ночного дежурства... Он и из окна-то видит свою лечебницу. И если я подойду из деревни, он не увидит, пока не постучу в дверь.

Мы обнимемся, и уже в бане, когда вылетишь передохнуть, развернёт гармонь, доставшуюся ему от замечательно игравшего на ней брата Василия Ивановича Белова, Юрия, и мы всласть напоемся. И с печалью вспомним недавно погибшего Геннадия Заволокина, который любил и играл Толины песни.

Геннадий извлекал музыку из этих стихов так естественно, что, казалось, выпрастывал ее готовой, и она рождалась сама и излетала из стиха жаворонком на нити строки. А уж там непременно пойдут частушки: «Мы грустить с тобой не станем. Раскатись, как раньше гром: “Мы гармонь свою растянем, а чужую разорвем!”» Не умеет Толя вятской песенной душой долго печалиться. И я никогда не буду знать, где у него чужие частушки, которых он знает тысячи, и тут бы им с Николаем Старшиновым друг друга не одолеть, а где при заминке вылетит и своя, рожденная с мгновенной свободой, словно тоже выхваченная из воздуха готовой. Тут уж его народное сердце говорит, кровь трав и небес, полей и птиц, бабушек и дедушек, маслениц и постов.

Всё родословие милой Родины проросло в кровообращение и живет там, ожидая только оклика мира, мгновения совпадения света сердца и дня, чтобы излиться с необычайной простотой, где не найдешь следа усилия и труда воображения...

Загнанные столичными журналами в однообразный круг, мы и правда временами готовы сдать себя неверию...

А вот получишь письмо из Перми... да выпадет из письма короткий листок столбиком («Совладаешь ли с тоскою,/ если духом одинок?/ В дальнем городе во Пскове/ ты печалишься, браток./ Я и сам не очень весел,/ тоже есть с чего грустить./ Нам с тобой бы в этот вечер/ друг у дружки погостить!), и мир опять свеж и умыт, так что и московский поэт вдруг зажжется от этого листка еще не выветрившейся

подлинностью. Жалко, что листки эти всё реже. Ну, это можно перетерпеть – скоро и письма-то сделаются анахронизмом, «ером» и «ятем» нашего письменного существования. Только бы сами поэты не переставали писать стихи...

Может, по московской поэзии и меряется высота культуры, да зато по провинциальной нечто более важное – живая душа нации, ее песенная генетика, ее природный духовный запас, ее «недра».

Владимир Крупин

## Застойные времена

Рассказ

В тот давний декабрь в Вятке, куда я примчался из слякоти и туманов Москвы, примчался простуженным, но в первый же день холод родины выморозил все столичные насморки, я был здоров, счастлив и молод. Первые мои рассказы уже дошли до родины, один рассказ даже с фотографией, что восхищало. Вот, не вру, увидел в троллейбусе девушку, читающую **мой** рассказ. «Это судьба», – забилося сердце. Я с ходу подсел, она покосилась, отодвинулась, а я сообщил: «Это я написал». Она ответила: «Иди, дядя, пропись». С тех пор не ищу контакта с читателями. С московскими. А Вятка? Вятка – это Вятка. Конечно, нет пророка в своём Отечестве, тем более в недоверчивой Вятке, но ведь родина. Родина. Родила и вырастила, как не мечтать чем-то отблагодарить. Вот и считал свои рассказы малым приношением «малой» родине. «Малой» родиной называли место рождения писателя. Для кого малая, а для меня всесветная. Таковой же она, уверен, была и для вятского русского поэта Анатолия Гребнева, живущего в Перми. Именно с ним мы встретились в эти морозы. Навестили писательскую и журналистскую организации, сходили во главе большого коллектива пишущих в баню, естественно, в номера. Естественно, с допингом для увеличения радости жизни. Вымылись и выслушали новости светской жизни областного центра.

– Нет, Толя, — сказал я, когда мы остались одни, — это счастье, что мы живём не в Вятке. Счастье. Приехали и

уехали, а живи тут постоянно? Ведь это надо было бы участвовать в «борьбе». Ну чего вот он (я назвал фамилию) с бабами связался?

– А этот, – Толя назвал другую фамилию, – уже рехнулся от сознания своей гениальности. Ты слышал, он говорит: я вятский Гоголь.

Я передал Толе приветы и поклоны от Анатолия Кончица, прекрасного писателя, тоже, естественно, вятского, живущего в Москве. Он сын сосланного в Вятку белоруса и подосиновской женщины. Не женщины из-под осины, а район такой. Подосиновский. И пересказал Толе до сих пор не напечатанную повесть Кончица. О ней чуть дальше. Пока же закончу рассуждения о климате провинциальной культурной жизни в сравнении с московской. В провинции враждуют всерьёз и подолгу. В писательской организации из десяти членов всегда восемь партий. Вражда идёт до гробовой доски, закручивает события, втягивает и ближних и дальних. В Москве враждовать некогда. Во-первых, в Москве никому ни до кого нет дела, во-вторых, в Москве так много писателей, и все гении, в-третьих, событий, то есть сплетен, такое количество, что их не переварить. Утром узнаёшь, что такой-то уехал в Израиль, к обеду – что такой-то оттуда вернулся, а такая-то ушла от такого-то к такому-то (так ему и надо), вечером в ЦДЛ подрались (вчера тоже дрались, но как-то не так, сегодня ярче, милиция была), такой-то выдвинут на премию, а такой-то задвинут (конечно, надо наоборот, да разве ж эти, там, в секретариате, чего-нибудь понимают), того-то избрали, а того-то прокатили (надо было обоих прокатить), а эта сучка приехала из Франции и уже включена в делегацию в Италию («а ты что ж, не знал, она же стукачка»), то есть такое количество событий, стычек, лагерей, заседаний, что когда уж тут подолгу враждовать! Одно было и продолжается противостояние: евреи и русские. Но как-то уживались, сидели на одних совещаниях, пьянствовали вместе, делить, конечно,

было чего (издания, звания, поездки...), но как-то и это решалось. Я потом долгие годы был в Приёмной комиссии, сейчас некогда, а надо бы рассказать, как принимали в Союз. Если мы, русские члены приёмной комиссии, не принимали в Союз еврея, причём совершенно по объективным причинам (бездарен, тягомотен, мало написал, подождём), то члены комиссии – евреи тут же автоматически топили русского, будь он хоть расталантлив. Но как-то всё же договаривались, Союз писателей рос.

Именно в ЦДЛ я познакомился и мгновенно сдружился с Анатолием Кончицем, земляки же. Он часто звонил и забавлял тем, что вот сейчас перечитал «Господина из Сан-Франциско» и понял, что в России только три прозаика: «Ты, я и Бунин». – «Тут у меня ещё Женя сидит», – говорил я. «Да, и ещё Женя». Но это он так шутил, а сам был скромнейший, совершенно непробивной человек. Он написал повесть, где главный герой – унылый маленький человек нашего времени. Комната в коммуналке, зарплата ниже уровня моря, кто такого полюбит? Но однажды в его комнате вдруг отъехала в сторону стена, за ней открылся сад, беседки, выскочил швейцар и пригласил: «А пожалте, барин, для аппетита погулять». Вот такой сюжет. Швейцар, имя его Филимон, любил барина. У берега тихой речки, конечно, с лебедями, пели девушки в сарафанах, доносилась свирель пастуха. И барин, совершенно разнеженный, говорил Филимону: «Дай-ка ты мне, братец, в руки пистолет, да поставь-ка ты себе на голову яблоко». – «А не портили бы вы яблоко, барин», – отвечал Филимон, нисколько не сомневаясь, что барин попадёт не в лоб, а в цель.

Толя, посмеявшись, сказал вдруг:

– А что, барин, не мало ли мы погрелись?

Мы стояли среди морозного тумана. Окутанные седым снежным куржаком, извергая мгновенно замерзающие облака выхлопа, проносились автобусы. Скрипели валенки торопливых, закутанных прохожих. Непонятное время как

бы умершего от холода дня подстрекало к сопротивлению. Тем более, после бани боялись простыть.

– Да, Филимон, – отвечал я. – Не будем портить радость от встречи с родиной разговорами о роли интеллигенции в её личной жизни и жизни страны.

Но в тот же день мы снова нарвались на такие разговоры. Нас заарканила областная гросс-дама (прошу только не думать ни на кого из знакомых вятских женщин), её давно нет в Кирове, тогда же она держала своеобразный салон. У неё, помню, были какие-то прыгающие по стенам и потолку пресноводные лягушки. Это добавляло ощущений. Театральная и околотеатральная публика, телевизионщики, ещё кто-то, пели и пили и говорили услышанное по «Голосу Америки». Наша интеллигенция, что для неё, увы, естественно, верила разным «голосам» сильнее, чем голосу Москвы. Виновата и Москва (очень дубовые тексты звучали над страной), но и сама интеллигенция, которой со времён предателя Курбского, – а его демократы числят в основателях русской интеллигенции, – кажется, что заграничные хлеба вкуснее и лощёные мостовые Запада лучше поросших травой-муравой сельских улиц. Мне слышать то, что я слышал-переслышал в ЦДЛ, было уже неважно. Господи Боже мой, я на родине, в богоспасаемой Вятке, и я снова должен слушать бесконечное: Сталин, евреи, свобода творчества, пример Запада, отношение к интеллигенции, оплата творчества по таланту (все же таланты!), сколько можно?

– Я ухожу, – сказал я Толе. – А ты, барин, как изволишь.

Игра в барина и Филимона уже привязалась к нам, только мы так и не поняли, кто из нас кто, кто барин, а кто слуга.

– И на кого ж ты меня покинешь? – отвечал Толя.

Мы выбрались из-за стола вроде покурить, оделись в прихожей и самым примитивным образом эмигрировали.

Так сказать, безвизно. Мороз ещё подбавил. Троллейбусы уже не ходили. Решили ловить машину. Толя остался на остановке, поставив на скамью портфель и выскакивая голосовать проезжающим, я перешёл на другую сторону, пытаясь остановить машины, идущие навстречу.

Машину-то мы поймали, а вот портфель у нас свистнули.

– Да, – сказал я, когда Толя потрясённо закричал мне, чтобы я шёл к нему, – очарование родины продолжается.

Мы недолго бы переживали, если бы портфель пропал без содержимого, но он был именно заряженным. Мы стали искать то, чем можно было бы залить и потерю, и горечь интеллигентских дискуссий. Конечно, нас легко осудить: шли бы спать, и всё, но встаньте на наше место. Приехали на родину, давно не виделись. Выручил писатель Владимир Ситников, спасибо. Он совершил нерядовой поступок, когда в глухую полночь вышел на наш звонок на площадку квартиры, сразу всё понял и помог.

На улице у меня лопнула подошва зимнего австрийского ботинка. На такие морозы она явно была не рассчитана. А ведь знали же немцы, что в России есть генерал Мороз. Быстро забыли. Нога моя заколела в минуту. Вприпрыжку мы побежали ночевать к моему брату. Утром брат залил пространство щели на ботинке каким-то особым клеем.

– Погоду слушал, – сказал он. – У тебя, Толя, в Перми, гораздо теплее.

И вот эта, случайная фраза брата о погоде, решила нашу судьбу. Сидели на кухне и всё прокручивали вчерашнее сидение с вятским бомондом. Разговоры здесь ничуть не отличались от разговоров и в Москве и в Перми, рассуждали мы. У интеллигенции всегда все виноваты, но не она. Любимая тема – говорить о привилегиях начальства. Это же показывает зависть говорящего. Вторая любимая тема – обсасывать уже происшедшие события истории, которые уже не изменишь. Но зато сколько возможностей

показать ум. Третья тема – осуждение пишущих (рисующих, играющих) собратьев. Конечно, все бездары. И так далее.

– У нас, – сказал Толя, – есть два поэта.

– Два? А ты? А?..

– Два враждующих. Зовут Штепсель и Тарапунька. Один два метра, другой метр с кепкой. Метр с кепкой написал: «Мировоззрение окраин центростремительней ума». Завихрение, конечно, но имеет же право. А высокий, Тарапунька, стал высмеивать: у этого шплинта и мировоззрение. Что ты! Обида, вражда. Если один пришёл в Союз писателей, другой не придёт.

– И у каждого читатели, так ведь?

– Естественно. А поехали-ка, барин, на вокзал, – сказал Толя. – Выпьем там. Не для пьянства, а чтоб не отвыкнуть.

Поехали. Моментально схватили такси. Вообще, в до-реформенной России с такси не было проблем. В Кирове особенно. Такси можно было вызвать из уличного телефона-автомата. Звонишь – через три минуты выезжает из-за угла. Ещё через пять минут водитель становится хорошим знакомым, а концу поездки преданным товарищем. Для начала Толя всегда читал стихи Передреева: «И вот стою и погибаю среди райцентровской грязи. Вот снова руку поднимаю, вот подбегаю: подвези! Шофёр берёт меня, сажает, а я ему не сват, не зять. Шофёр глаза свои сужает, соображает, сколько взять...» Вятские таксисты, в отличие от московских, глаза не сужали, брали по счётчику (что, кстати, было очень недорого), а один раз возивший нас таксист заявил: «Парни, это я вам должен платить, а не вы. Я с вами, парни, как в кино сходил». То есть умели мы поговорить с народом. Правда, народ был не нынешний. А таксисты, думаю, уже и забыли, когда возили простых людей.

Опять у меня перекидка в нынешние времена. Но, когда вспоминаешь, невольно сравниваешь. Поминая дни древние, поучаешься в них, говорит Псалтырь. Так и мы. Всё

познаётся в сравнении. Чем плохо жили? Да ничем. Главное, не боялись завтрашнего дня. Стали недовольны жизнью – получай. Недовольство жизнью всегда ведёт к её ухудшению.

Только замёрзшие стёкла вокзального ресторана не пропускали ни свету, ни изображения того, что происходило на перроне. Слышен был шум уходящих и приходящих электричек, гудки электропоездов.

– С этими разговорами, – сказал я, – я будто из Москвы не уезжал.

– А я из Перми. У нас тоже и «Немецкую волну», и «Свободу», и «Голос Америки» слушают. Глушат, конечно, да что толку. Антенны насобачились делать, приёмники помощней. За высокую техническую грамотность! – поднял Толя бокал.

– И за низкую национальную сознательность! – поднял я свой навстречу. – То есть за то, чтоб она возросла.

– Как всегда, будет поздно, – хладнокровно отвечал Толя. Он закурил, порассматривал ногти на пальцах, поднял взгляд и весело предложил: – А поехали, барин, в Пермь. Сказал же брат: там теплее.

– Тогда уж в Москву. Там вообще оттепель. Мы почти посередине. Жребий?

– Жребий! – Толя уже достал спички и одну из них обезглавил. – Но! Вытянем Москву, а вдруг вначале пойдёт на восток. Давай поедem туда, куда пойдёт скорее.

– Давай!

Мы поднялись в кассовый зал, к расписанию. Вышло в Пермь. Билеты, правда, были в общий вагон, но что с того.

– Зима, мороз и все куда-то едут. Ну мы-то хотя бы освежить взгляд зрелищем заснеженной России, а все-то куда? – спрашивал Толя, проверяя запасы огня и дыма, сигарет и спичек.

Поезд, на диво, пришёл и отошёл вовремя. В вагоне было так натоплено, что по нему бродили в майках. Плака-

ли дети, орал динамики. Вагон был чуть ли не двадцатый, хвостовой. Выехали за привокзальные стрелки, и всё равно мотало. Толя уже узнал, что в поезде ресторана нет, есть только буфет, но что и это не то.

– Почему?

– Как говорят психологи, выслушай информацию со знаком минус: в буфете только аква минерале. – Толя сделал паузу: – А теперь информация со знаком плюс: в первом вагоне у проводника, официальная кличка Игорь, есть. Правда, надбавка за подпольную продажу, ну-к, что ж. Идём? От гонений водка крепнет.

Тогда, опять же кстати, качество спиртного было данным, то есть надёжным. Демократического пойла, убивающего людей, вроде «королевского» спирта «ройяль», вроде чудовищной ацетонной бормотухи не было и в страшном сне.

– Пойдём! Не уснём же всё равно.

Мы оставили полушубки и пошагали належке. Представьте эти два десятка вагонов, в которых жар и духота, и эти снежные тоннели тамбуров, эти тяжёлые, обросшие ледяным свинцом двери. Вечность мы шли до этого Игоря. Он оказался на месте, выслушал пароль от нашего проводника, назвал сумму. Мы к тому времени уже умели не удивляться. Купили расположение этого Игоря ещё и тем, что сообщили: одну распечатываем с ним, одну берём с собой. Платим за обе.

– Вот такой пошёл клиент у тебя.

Добро добру откликается – в служебном купе появилась и горячая картошечка, и рыба, также и огурчики-помидорчики, вызвавшие в памяти частушку: «Огурчики-помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике». Хоть и не убивал, а в частушку для закрепления в народной памяти попали оба. Посидели душевно, пошли. И снова эти контрасты жары и полярного холода, снова эти перемерзшие окна, за которыми что-то проносилось.

– Как в метро едем, – сказал я на середине пути. – Слушай, барин, беря в рассуждение то, что от этих сквозняков и мороза ни в одном глазу, а также трудность добывания горючего, а также то, что всё равно идти, то...

– Не из горла же.

В том же вагоне, в котором пришло разумное решение, мы обратились к проводнице как близкие друзья Игоря. Да и без Игоря мы были в своём народе. Огурчиков не было, но чистые стаканы, но хлеб, но шоколадка предстали в ту же минуту. Посидеть с нами проводница отказалась. Оставила нас из деликатности одних, пошла подметать.

– Надо бы ей стих сочинить, – предложил я. – Еда на уровне министров, да и обслуживают быстро.

Толя подхватил:

– Мы с вами, видя ваши очи, И дальше жить желаем очень!

Мы всё прибрали, вышли в тамбур. Толя курил, я мёрз. Пытался продышать глазок в стекле. Вроде протаивало, но как только отслонялся, чтобы набрать воздуха, так глазок затуманивался, как засыпающий.

– Удмуртию, наверное, проезжаем.

– Не Удмуртию, а Глазовский уезд Вятской губернии, – поправил Толя. – Мы вятские, чужого нам не надо, но наше отдай. Что это такое – кругом обтяпали. Чайковский был наш, стал удмуртским, это что? Заболоцкий отошёл к марийцам, Шаляпин к татарам, Шишкин к ним же. Что ж осталось? Васнецовы только. Ну что, барин, к Игорю?

Игорь был уже не проводник, а полупроводник.

Но, выпивая, он не хамел, цены не прибавлял, только всё обещал начистить морду электрику состава. «Спит всю дорогу, чего ему. Райку отоварил. Начищу! Заблестит морда, заблестит».

– С мордой не связывайся, – посоветовал Толя. – Пристрели и выкинь. Проще. Вместе с Райкой.

И опять этот поход из головы в хвост. По пути благодарили проводницу, обещали написать ей стих. В этот раз всё-таки решили дойти до своего вагона, а то как бы наши полушубки не скоммуниздили. Полушубки были на месте.

– Филимон, давай пока не будем открывать, давай сочиним, обещали же.

Соседи по купе засобирались выходить. Верещагино.

– Верещагино! – ахнул Толя. – Да, барин, вот как, оказывается, надо преодолевать пространство. Преодолевать его в движении. Лёжа мы бы так быстро не ехали.

Мы улучшили жилищные условия, то есть перебрались с боковых мест на перпендикулярные им. Стали сочинять. Я письменно, Толя устно.

«В жаре, на полке боковой, над колесом, у туалета, я ехал к крестнику домой, он был поэтом. Крик жён, храпенье их мужей, хрипенье радиоэфира... казалось мне, что нет уже другого мира. И обескровленный листок в окне метался. Изнемогая, на восток я продвигался...» Окончание я забыл, да это и не важно. Толя как профессионал сочинил гораздо лучше: «Надоело болтать и стограммить под хмельную чечётку колёс. Я сумею состав застопкранить, я успею рвануть под откос. Вы за горло меня не возьмёте, мне на вас глубоко наплевать. Ах, какие на поле омёты, я в омёты уйду ночевать...» Дальше, помню, было: «С головою зароюсь в лучи и усну в золотистой соломе, как у мамы на русской печи». В конце стояло: «Не забыт он, не предан, не запит родниковой отчизны исток. Мне на Вятку, на запад, на запад, а колёса стучат на восток».

Толя щедро похвалил мои способности к рифме, но поправил:

– То, что я твой крестник, ты верно отобразил, но почему про этого крестника: он был поэтом? Был? Если так, то я сумею состав застопкранить. Все будут как обескровленные листки метаться.

– А на кого это тебе глубоко наплевать?

– Они сообразят.

В Перми вряд ли было теплее. Доказательством мороза было то, что прямо на вокзале у меня лопнула вторая подошва, и первая, та, которую лечил брат, тоже треснула, но не по склеенному, брат сделал на совесть, а рядом.

– У тебя дома клей есть?

– У меня, как в Греции, всё есть, – отвечал Толя. – Но ты что, думаешь сдаваться? У меня жена хоть и вятская, то есть даже больше, чем хорошая, да ведь жена-а. Но! Барин, сейчас хоть и темно, а ведь ещё и шести нет. Помнишь шутку: до семи пьют семиты, а после семи антисемиты. Поехали в Союз, там точно кто-нибудь есть.

О, эти бесконечные пермские улицы, проспекты, гигантские площади. Ну зачем, скажите мне, иметь в городе улицу, конечно, имени Ленина, длиной в семьдесят километров? Одно утешало, что в Перми есть своя Царь-пушка размерами больше Царь-пушки, стоящей в Кремле. Причём важное отличие: кремлёвская пушка так и не выстрелила, а пермская стреляла, и ещё вполне может стрелять. Сведение ценное для нынешних времён.

Приехали в Союз писателей. Там было народисто. Рядом с Союзом писателей был клуб УВД, конечно, имени Дзержинского. В нём мы быстро достали всё необходимое для радости встречи. Вот, кстати, тоже глагол: достать. Этот глагол гораздо энергичнее, нежели глагол: купить. Купить любой может, а ты достань. Достать – дело творческое. Загремела казённая посуда, с меня требовали московских новостей. Но я всегда замечал, что в провинции больше знают о Москве, нежели в самой Москве.

Высокий поэт, назовём его Александром, завладел вниманием.

– Этот шплинт, – сказал он, – этот шибздик имеет мировоззрение.

– Хватит тебе! – закричали присутствующие.

– О! – вдруг встрепенулся Толя, сидящий рядом. – Ведь Славка рядом живёт. – Толя вышел. Потом я понял, что он звонил поэту маленького роста, просил прийти.

Тут началось и блистательно произошло до сих пор памятное событие. Событие задумал и провёл Толя. Он примерно рассчитал время прибытия Славы и наполнил бокалы.

– За Пушкина! – возгласил он.

Возражений не было. Только встали (за Россию, за Пушкина, за женщин – стоя), как в дверях появился Слава. Александр поперхнулся, Слава попятился, Толя подскочил к дверям, загородил Славе выход и закричал:

– Тих-ха! Саш, скажи только одно: хуже или лучше Пушкина ты пишешь? Мы знаем, что ты прекрасный поэт, ты заработал бессмертие, но вот кто лучше: ты или Пушкин?

Александр помялся, переступил (все ждали ответа) и угрюмо проворчал:

– Ну, Пушкин.

– А ты, Слав? – тут же обратился Толя к маленькому ростом. – Ты лучше Пушкина пишешь, а?

– Что глупость говоришь? – ответил Слава. – Пушкин же.

– Итак! – поднял руку Толя. – Вы оба пишете хуже Пушкина, так чего вам делить? Чего? Ну-ка, брудершафт!

Мы загудели одобрительно, стали подталкивать противников друг ко другу, то есть к замирению. И – свершилось: Толя с помощью Пушкина и с нашей помощью покончил с враждой, вырвал её корни. Славу и Александра посадили вместе. Александр отечески подливал соседу и гудел:

– Плюнь ты на эти мировоззрения, пиши проще. Как у Пушкина: мороз и солнце, понимаешь, прибежали в избу дети... так и молоти.

Сидение закончилось. Тогдашний секретарь пермского отделения Союза писателей Николай Николаевич Вагнер позвал нас к себе. Много лет назад он похоронил жену, больше не женился, жил одиноко, но очень чисто, в трёхкомнатной квартире. Сразу отказался от нашего предложения посидеть на кухне, стал накрывать в большой гостиной. Любо-дорого было смотреть, как он постилает чистейшую скатерть, достаёт из серванта и перетирает хрусталь, фарфор, раскладывает мельхиоровые приборы, извлекает из морозилки запотевшие ёмкости, нарезает дефицитные продукты. Опять отвлекусь – это была чисто русская советская загадка тех времён: при пустых магазинах изобилие продуктов в домах. На Западе в магазинах всё ломилось, а придёшь к ним домой – пусто, экономно ужимисто. У нас всегда полная чаша. Сейчас более начинаем походить на Запад.

Николаю хотелось поговорить с московским гостем.

– Вот этот, – он назвал модную фамилию, – ведь еврей?

– Ну?

– Я сразу понял. Не успел напечатать роман, как уже шквал аплодисментов. А ведь в зубы нечего взять, просто гигантский очерк, а не роман. А вот (фамилия) русский, прекраснейшая повесть, и никто ни звука.

– Ни слова о евреях! – закричали мы.

– При Сталине... – начал Николай.

– Ни слова о Сталине! – закричали мы.

– Значит, молчать?

– Есть же третья тема, как третий тост – о женщинах.

Потом мы воспели этот вечер в стихах: «Коля жил как отшельник игумен, лишь с печатной машинкой дружил, и высокие пестуя думы, без излишеств, без пьянства он жил. Только надо ж такому случиться – был покой монастырский сметён, вдруг явились ему из столицы барин в туфлях, а с ним Филимон...» Про барина и Филимона, мы, конечно, Николаю рассказали.

– С женщинами я вам не помощник, – ответил Николай.  
– Но пригласить могу.

– Приглашай, – распорядился Толя. – Желательно по-старше. Для общения, для интеллекта. Вдохновения хватает.

Я вызвался чистить картошку и жарить мясо, они пошли звонить. Слышно было, как Толя энергично уговаривает:

– В такой мороз надо держаться ближе друг к другу. На полчаса? Отлично. В нашей жизни и пять минут могут стать вечностью.

Одну уговорили. Стали звонить второй. Вторая, объяснил Николай, была очень важной женщиной, со склада запчастей. Познакомился, когда ездил доставать что-то для своих «Жигулей»: «Писателей, говорит, уважаю. Телефон дала домашний».

И вторую уговорили. И мясо у меня подошло и томилось под чугунной крышкой. Обе приехали чуть ли не враз. Первая та, которую Толя уговаривал особенно жарко. Зрелище было страшным. Потом мы его описали так: «Филимон возле дамы хлопочет, возле дамы ужасной своей, у которой ни сердца, ни почек, ни волос, ни бровей, ни груди». Вторая была раза в два моложе, но тоже сильно в годах.

Я сидел напротив Толи и видел, что он и страшится и мужается поглядеть на соседку. Другая, со склада, была проще и веселее. Чем-то ей понравился именно я. Она предложила спеть интеллигентскую песню: «Миленький ты мой, возьми меня с собой». Спели и стали анализировать: кто в центре песни? Эмигрант? Скорее, еще не уехавший, но отправивший в «край далёкий» и жену и сестру. Ведь в краю далёком есть у него и жена и сестра. Заставили Толю читать стихи. Всё было душевно.

Полночь, однако, приближалась. Женщина со склада вполне освоилась в квартире, сообщила мне, что нам надо занять одну из комнат, что уже люди устали, надо дать им

отдохнуть, и нам пора. Николай, наклоняясь ко мне, вдалбливал, чтоб я непременно к утру достал крестовину для его «Жигулей». Вот женщина, прихватив в одну руку рюмку, в другую графин (Николай же не мог опуститься до того, чтобы наливать гостям из бутылок), лягнула меня бедром в плечо и пошла. Николай стал меня толкать вслед за ней, повторяя: «Крестовина, крестовина!» Так он меня и затолкал в камеру пыток.

– Миленький, – хлопнула в ладоши женщина, – контрольный звоночек, и...

Этот контрольный звоночек меня спас. Оказывается, муж женщины уехал в тот день проверять отопление на даче и собирался там ночевать, а приехал туда – всё отопление полопалось, трубы перемерзли, и он возвращается. Хорошо ещё, заехал к знакомым гаишникам и позвонил с поста. Эти сведения женщина получила от матери, взвизгнула и мгновенно собралась. Я фальшиво и радостно кричал:

– Как? Так сразу?

Вызвали такси. Оно, как в Вятке, подрулило моментально. Женщина исчезла. Вскоре отправили и вторую. Можно себе представить радостное мужское застолье, которое вслед за этим продолжалось еще дня три-четыре.

Но в этих днях были: и баня, и покупка мне зимних ботинок, не австрийских, отечественных, тёплых, надёжных, были и встречи с трудящимися и учащимися. Продолжалась игра в барина и в Филимона, причем я до сих пор не понял, кто из нас кто.

Ослабев здоровьем, я уже не мог ехать поездом. Тем более, если б я поехал поездом, то как бы я проехал Вятку? А на неё уже не оставалось сил. И я улетел самолётом. Всё было настолько доступно и настолько мы всё это не ценили, что... что теперь!

В Москве надорванный Уралом организм схватил простуду уже на трапе самолета при выходе, и вечером того же дня я отправился лечиться. Куда? Конечно, в ЦДЛ. И там,

конечно, сидел Анатолий Кончиц, которому я и рассказал о воплощении его литературных персонажей, что его повесть, так сказать, каким-то боком вышла всё же в люди.

И какова же, как говорил знакомый писатель кавказских кровей, какова же «марал»? Он не видел смысла в рассказе, если в нём не было лобовой морали.

Да, какова «марал»? А никакой. Чего теперь, когда всё в России: и власть, и финансы, и особенно средства массовой информации, театр, кино – всё захвачено, я не скажу – нерусскими, но скажу – антирусскими людьми. Именно так. И мы сами помогали этому. Одно утешает: всё это захвачено, а захватчики трясутся от страха. Они же понимают, что Россия осталась с русскими.

Но как же помогли? Очень просто: тем, что подвскивали кухонным борцам, желающим публично говорить правду, желающим жить в другой стране или переделать эту страну. Мало было, что говорили везде и говорили кто что хотел. Но ведь так хотелось кайфа – публично говорить то, что говоришь на кухне, обнажаться хотелось публично. Ну, обнажились, ну, переделали страну, что ж вам невесело, господа хорошие?

В кратком послесловии сообщаю, что та женщина со склада сама привезла Николаю две крестовины, полюбила литературу, выпрашивала мой адрес. Николай выстоял, семья моя сохранилась.

Вот такие воспоминания из времён, когда картошка стоила десять копеек, а в школе детишек учили любить родину.

1998 г.

Анатолий Гребнев

## Стихи, избранное

### РОССИЯ

По колокольной гулкой сини,  
По ржанию троечных коней –  
Как я тоскую по России,  
Как плачу горько я о ней!

По воле той,  
По той свободе,  
Когда,  
Как в спелое зерно,  
Природы дух  
И дух народа  
Сливались в целое одно!

По той, что гибла,  
Воскресала,  
Кипела,  
Пела  
И цвела,  
Когда в согласьи с небесами  
Ее сияли купола.

Тысячелетнее величье  
В глухое втоптанно быльё –  
Святой обряд,  
Живой обычай,  
Ее уклад  
И лад ее.

Эй, братья-русичи!  
Славяне!  
Все, в ком душа еще жива, –  
Неужто с вами мы завянем,  
Как прошлогодняя трава?

Я верю, верю –  
Невозможно  
Таких и нынче перечесть,  
Кто любит Родину неложно,  
В ком честь  
И совестьливость есть!

И возродить нам хватит силы,  
Соединившись на краю,  
Из разроссиенной России,  
Россию кровную свою!

1991

## ФРОНТОВИК

И соседи давно уж не рады –  
Снова сдвинулся Ванька, дурит:  
Он костер разжигает в ограде  
И кричит: «Севастополь горит!»

Урезонивать Ваньку без толку,  
В этот час его лучше не тронь.  
В белый свет он палит из двустволки  
И орет: «Батарея, огонь!»

Он крушит что попало, неистов,  
По команде: «В атаку! Вперед!»  
Разобьет подчистую фашистов,  
Севастополь России вернет...

Успокоится,  
Баньку истопит.  
Но, друзей вспоминая, твердит:  
«Севастополь родной, Севастополь...»  
Слышишь, друг, –  
Севастополь горит!

2000





\* \* \*

*Владимиру Крупину*

Не в те ль времена Святослава  
В моем древнерусском краю  
Я вижу,  
Как мальчик кудрявый  
Бежит босиком по жнивью.  
Бескрайней подхваченный волей,  
Держа в узелочке обед,  
Бежит он по желтому полю,  
Которому тысячи лет.

Известно уже мальчугану  
Зловещее слово – война.  
Отец его –  
В битве с врагами,  
Мать – в поле  
с темна до темна.

Той давней,  
Но памятной яви  
Я, видно, забыть не смогу.  
Не я ли тот мальчик,  
Не я ли  
В страду к своей маме бегу?

Не я ли тем августом ясным,  
Хоть ростом всего с полснопа,  
Стараюсь завязывать свясла  
И ставить снопы на попа.

Не я ли,  
У дня на изломе,  
Колосья зажав в кулаке,

Уснул в золотистом суслоне,  
Как в сказочном том теремке.

И мать,  
    моя мать-Россия –  
Солдатка,  
Горюха,  
Вдова –  
Над будущим пахарем-сыном  
Склонилась в слезах у жнитва.

1974

## КРУГОВОРОТ

Уж каркал ворон над Россией,  
Когда отец мой  
До зерна  
Посеял поле ржи озимой.  
И позвала его война.

И всколосилась даль сквозная  
В четыре звонкие конца!  
Когда косили рожь,  
Отца  
Скосила пуля разрывная.  
Но каждый год,  
Но каждый год,  
Поднявшись нивой животворной,  
Земной вершат круговорот  
Отцом посеянные зерна.

1979



## ДРУЗЬЯМ-ДЕТДОМОВЦАМ

А мы завидовали вам,  
В село глухое привезенным, –  
Казенным вашим башмакам,  
Суконным курточкам казенным.

Поскольку – тут не до затей, –  
Форся своей обувкой древней,  
Не вылезала из лаптей  
Послевоенная деревня.  
Тогда казалось мне спроста,  
Что разница неуловима:  
Друг Юрка – круглый сирота,  
Я – сирота наполовину.

...Собрало – помню как сейчас, –  
В дому гостей большим  
Престольем.  
И друг-детдомовец у нас  
Сидел за праздничным застольем.

– Ты ешь-ко, дитятко, да пей! –  
Мать Юрке голову погладит.  
А бражный дух среди гостей  
В который раз уж песню ладит.

И грянул песенный куплет  
Да с неподдельной болью тою,  
Как на чужбине с юных лет  
Остался мальчик сиротою.

И я подтягивал, как мог.  
А Юрка голову склоняет

И в недоеденный пирог  
Слезу соленую роняет.

– Да что с тобой? –  
А он молчит.  
И вот я вместе с ним тоскую.  
Не с тех ли пор  
Душа болит  
И чувствует  
Слезу  
Мирскую?

1994

\* \* \*

Как иконы, их лики темны,  
Но сияют седые их прядки,  
Потому что за годы войны  
С черным горем спознались  
солдатки.  
Потому что еще до сих пор  
Ничего, ничего не забылось.  
И уходит на то разговор –  
Ох, как раньше жилось да любилось!  
Ох, как верили – ждали они!  
На работе – в износ – убивались.  
Поразъехались дети. Одни  
Доживают уклонные дни,  
Друг у дружки средка собираясь.  
Вот опять я в родном их кругу.  
Но за общим застольем – тверёзый –  
Я ни пить и ни петь не могу –  
Здесь из камня бы вышибло слезы!  
Застилает глаза пеленой,  
И предчувствие душу мне студит,  
Будто их уже нету со мной,  
Будто их уже нет  
И не будет...

1975



...Пою, не поднимая глаз, –  
Мне и за песней нет покоя.  
Душой предчувствую такое,  
Что видимся в последний раз...

2004

\* \* \*

А мне, когда глаза закрою, –  
Родное мне  
Еще родней:  
Она всегда передо мною –  
Могилы матери моей.

Там, за оградкой,  
Две рябины,  
Скамейка, что всегда пуста,  
И синь со стоном голубиным  
За колокольной без креста.

Не знаю, что с моей страной,  
Но я живу во мраке дней  
Тем, что она  
Всегда со мною –  
Могилы матери моей.

2001

## ХРАМ

Высокие рухнули своды,  
И пылью взошел к небесам  
Воздвигнутый в древние годы,  
Сиявший столетьями храм.

Растворов ли связи крутые,  
Иль камень твердел от молитв –  
Но тьме разномастных батыев  
Не дался на щит монолит!

Вся Русь и в огне, и в порухе,  
Но, подвигов ратных оплот,  
Твердыней нетленного духа  
Сей храм в честь Победы встает!

Встает, чтобы славу и муки  
Забвенью предать не смогли,  
Чтоб чтили и ведали внуки  
Святыни родимой земли...

Кто скажет, что храм уничтожен? –  
Старинная кладка цела,  
Фундамент глубокий и надежен,  
Чтоб вновь вознеслись купола!

И словом, подвластным пока мне,  
Я кличу товарищей рать:  
Не время оплакивать камни –  
Пора их опять собирать!

1986

\* \* \*

Помню, в детстве упал я в траву  
И, впервые,  
В беспомощном плаче,  
Содрогнулся душою ребячьей:  
Я узнал, что я тоже умру.

Поседел я теперь, но однако,  
Горе горькое знавший не раз,  
Я бы снова об этом заплакал,  
Но уже  
                  не умею  
                                  сейчас...

1977

## МЕТЕЛЬНЫЙ ВАЛЬС

Не ангелы в душу слетели,  
Не к Богу душа поднялась –  
Щемящим порывом метели  
Ударил свиридовский вальс!

И боль, и мольба, и рыданье,  
И ропот смертельных разлук –  
В такие пределы страданья  
Уносит божественный звук!

И сам я не знаю,  
Куда я  
В метельном круженье лечу –  
К могилам родных припадаю,  
Обнять всех живущих хочу.

Как искры в сплошной круговерти,  
Прносятся мысли во мне  
О собственной жизни и смерти,  
О собственной горькой вине.

Бушует вселенская вьюга,  
Сливаются в хор голоса...  
Плечом я почувствую друга,  
Очнусь  
И открою глаза.

Увижу – стакан мой не допит.  
Мы с другом в застолье одни.  
И шепчет услужливый опыт,  
Что лучшие прожиты дни.

Сошли с карусельного круга,  
Исчезли, как тени, скользя,  
Прекрасные наши подруги,  
Старинные наши друзья.

И мы покаянно итожим  
Все то, что ушло навсегда:  
Мы даже заплакать не можем,  
Как в юные наши года.

Но все же до слез потрясают  
Небесные звуки, скорбя.  
И вера, как свет,  
Воскресает  
В душе у меня и тебя.

И где бы и что ни случилось  
Отныне с тобой и со мной,  
Но будет нам тайная милость  
У края дороги земной:

Слетятся, как ангелы, звуки.  
Над миром  
Душа различит,  
С какой упоительной мукой  
Мелодия эта звучит!

1990

## 12 ИЮЛЯ

Благовестом в честь Петра и Павла  
День с утра, как медом, напоен.  
Желтой пеной таволги оплавлен  
Синий сенокосный окоем.

Постепенно отцветы померкли.  
Тонко затуманились луга.  
В поднебесье возносясь,  
Как церкви,  
Золотятся лунные стога.

Родина!  
Любимая,  
Я верил,  
Что к тебе я снова ворочусь,  
Что оплачу  
Все твои потери,  
Что молиться снова научусь.

1991

## РОДНИК

Не умолкает ни на миг,  
Ни на единое мгновенье –  
Кипун-родник,  
Кипун-родник –  
Земли живой сердцебиенье!

Вот ты припал к нему, приник,  
Напился вдосталь и умылся,  
И прожурчал кипун-родник,  
Что без тебя он здесь томился;

Что обезлюдел край родной,  
А из ближайшей деревушки  
За чудотворною водой  
Теперь бредут одни старушки;

Что в сумасшедшей спешке дел  
Ты постарел и сам в столице,  
Но вновь душой помолодел,  
Испив живой его водицы;

Тебе почувствовать дано:  
Не меньше вечности мгновенье,  
Когда сливаются в одно  
Его с твоим сердцебиенье...

2002





\* \* \*

Тревожно за русское Слово!  
Но вспомнишь –  
Светлеет вокруг:  
Пока есть Распутин с Беловым –  
Не надо тревожиться, друг!

1995

### ГЕННАДИЮ ЗАВОЛОКИНУ

Если башни вечевые  
На Руси давно молчат –  
Пусть гармошки удалые  
Нам  
Набатно  
Зазвучат!  
Пусть ударят,  
Наплывая  
Колокольною волной, –  
Отзовется  
Русь родная  
Всей своею глубиной!  
И восстанет у народа  
Непокорства  
Дух живой.  
И смертельные невзгоды  
Мы осилим.  
Не впервой!

2000



\* \* \*

Ах, как журчали жаворонков речи,  
Когда на гребне вспененного дня  
Не верил я,  
Что этот мир не вечен.  
Что этот мир не вечен для меня.

Когда в одном порыве невозможном,  
Цветов и трав подняв девятый вал,  
Как жаворонок тот над ясной рожью,  
Сходил с ума я,  
Пел и ликовал!

Ну что ж, пора,  
Коль выкошено жито,  
И в два конца видна тропа моя,  
О том, что было жито-пережито,  
Задуматься средь желтого жнивья.

1978



\* \* \*

Дышать мучительно легко,  
Когда шуршит лесная опадь,  
И видно очень далеко,  
И холод  
Стаи птиц торопит.

Такое время подошло –  
Последний лист летит отвесно.  
В душе  
И тихо, и светло,  
Как в облетевшем перелеске.

1966

## ОСТЫВАЯ, ДЫМИТСЯ РЕКА

Остывая,  
Дымится река.  
Над обрывом сквозят перелески.  
И шуршащее слово – «шуга» –  
Все слышней  
На песчаном приплеске.

Все отчетливей ветер шумит.  
Низко стелются вороны-тучи.  
И душа у природы щемит,  
Замирает,  
Как ива над кручей.

Мне ее состоянье  
Сродни,  
Ей сродни  
Мои боли и муки.  
С нею мы затихаем  
Одни,  
Чтоб услышать  
Небесные звуки...

1980

\* \* \*

Предчувствуя недалгие метели,  
Устроили пернатые содом.  
Пируют снегири и свиристели  
В рябиннике высоком и густом.

Надолго бы хмельных хватило ягод,  
Но так похожи в этом на меня,  
Они и не рассчитывают на год,  
А все вчистую спустят  
За два дня.

Мол, будет завтра день –  
И будет пища,  
И зернышко найдется все равно.  
Гуляй, братва,  
Пока снега не свишут,  
Пока красным в рябиннике красно!

1977





**А ДАВНО ЛИ, СКАЖИ,  
МОЯ МИЛАЯ**

А давно ли, скажи, моя милая,  
Нам казалось, что все впереди.  
И сияли озерные лилии  
На твоей загорелой груди.

Наливная, как яблоко осенью,  
Грудь была и нежна, и туга.  
А на том берегу сенокосили,  
До потемок метали стога.

Нам едва ли они помешали бы –  
Да и что нам могло помешать.  
Ни упрека.  
Ни просьбы.  
Ни жалобы.  
Только нежность.  
И рук не разжать...

Поздней осени строгие линии.  
Не увидишь – смотри, не смотри –  
Подо льдом наши белые лилии,  
С потаенным сияньем внутри.

1989

## В КОТЕЛЬНОМ НА МЕЛЬНИЦЕ

*В Котельнице три мельницы –  
паровича, водянича да ветрянича.  
Старинное вятское присловье*

Вот и станция Котельнич!  
Проводник, с ума схожу!  
Что меня ты канителишь –  
Я в Котельнице схожу!

Вятский говор различаю,  
Снова сердцу горячо.  
Чёкают котельничане,  
Ну и чёкают, дак чё?

Словно в детстве, сев на вичу,  
Я на мельничу лечу.  
Мне не надо паровичу,  
Мне не надо водяничу –  
Мне на вет-ря-ни-чу!

Вон за садом, на горушке,  
Против ветра – благодать! –  
Мелет меленка-игрушка.  
Даже крыльев не видать!

Я сдержу свою улыбку,  
Под собой не чую ног.  
Сам откроет мне калитку  
Потаенный западок.

И сиренью мгла запахнет  
И ударит мне под вздох.  
За окошком кто-то ахнет,  
И под радостное: «Ох!» –

Мельничиха выйдет павой,  
Сверху донизу «на ять».  
Перед ней – хоть стой, хоть падай –  
Все равно не устоять!

И начну я, ставши возле:  
«Вот он я, приехал, мол.  
Нынче как у вас, завозно?  
Мол, какой у вас помол?»

Мол, хочу смолоть как люди –  
Лишь бы мелево начать.  
Мол, и вам не худо будет  
Да и нам не плохо, чать!»

А она стоит, немеет –  
Мол, к чему еще слова,  
Мол, и сам ты, парень, мелешь  
На четыре постава!

Вспомни любушкино имя –  
Без тебя вся жизнь пуста...  
И сливаются с моими  
Мельничихины уста!

То не гром гремит над бором,  
То не по небу гроза –  
Это сыплет с перебором  
Не моя ли гармоза:

– Ой ты, любушка моя,  
Чем ты недовольная?  
У нас мельница своя,  
Своя и маслобойная!

1997



\* \* \*

В избушке забытой пробудем  
С тобой мы всю ночь напролет.  
Пушай в полумгле нам Погудин,  
Как ангел печальный, поет.

Подбросим в беленую печку  
Веселых березовых дров.  
А света нам хватит от свечки,  
А чувства нам хватит без слов.

2003

\* \* \*

Глаза твои запоминаю,  
Твой аромат и голос твой.  
До забытья целую,  
Знаю,  
Что мы расстанемся с тобой.

О, как меня ты обнимаешь,  
Ласкаешь в краткий час ночной,  
И, все забыв на свете,  
Знаешь,  
Что ты расстанешься со мной.

Подбросим в печку дров беремя,  
И – никому нас не разнять.  
Люби! Люби!  
Еще не время  
Нам друг о друге вспоминать.

2000

\* \* \*

Не будешь ты моей судьбою,  
Но я люблю твои глаза.  
Как на качелях, я с тобою  
То вниз лечу,  
То в небеса.

На миг владея целым светом,  
Стараясь руки не разжать,  
Я обнимаю только ветер,  
Который мне не удержать.

Прощай! Я с болью представляю  
Твои небесные пути.  
Но я тебя благославляю –  
Лети, любимая, лети!

2003

\* \* \*

Из повседневной круговерти  
Куда-то тянет все сильней.  
Спокойно думаю о смерти –  
Верней, не думаю о ней.

Еще в груди хватает силы,  
А боль одна – ты мне поверь:  
Лишь только б выжила Россия  
Средь потрясений и потерь!

А взгляд твой,  
Взгляд – родной и милый,  
Весь мир вместивший голубой,  
Я вспомню и перед могилой  
И унесу его с собой...

2002

## **ЭТОТ СВЕТ НЕСГОРЕВШЕЙ ЛЮБВИ**

Я сегодня поверю вполне  
На последней тропе листопада,  
Что молитвы твои обо мне  
Долетают туда, куда надо.

Золотую печаль вороша,  
Я почувствовал: больше не ропщет,  
Постепенно светлеет душа,  
Как под ветром октябрьская роща.

Этот свет несгоревшей любви  
Погасить октябрю не по силам,  
И тебе за молитвы твои  
Благодарно шепчу я «спасибо».

2005

\* \* \*

И небо над нами сияло –  
И запад сиял, и восток.  
И ты среди луга стояла,  
Как редкий небесный цветок.

И вправду,  
Ты с неба слетела!..  
Распахнуты, как небеса,  
На стебле упругого тела  
Твои неземные глаза.

А в сердце – восторг и тревога,  
И трепет, и ропот любви:  
«Не трогай, не трогай, не трогай!  
Не рви это чудо, не рви!»

...Ты где, дорогая подруга?  
Зачем же, до нынешних дней,  
Небесным цветком среди луга  
В душе ты сияешь моей?

2009

## ЛОДКА

...Сломалось мое кормовое весло,  
И нас по теченью легко понесло.  
И ты лопасёнки откинула прочь.  
И нас поглотила июльская ночь.  
Все ведала лишь хитрованка-луна,  
То в купах берез, то под лодкой видна.  
Блуждала в урёмных река берегах,  
И хор раздавался во мглистых лугах:  
О чем-то счастливом, что скоро пройдет,  
Звенел-заливался пернатый народ!  
И как же с тобой были счастливы мы  
В наплывах певучей сияющей тьмы –  
И речке родимой «спасибо» шептать,  
Забыть обо всем,  
На судьбу не роптать,  
В ладони небес из волны зачерпнуть,  
Чуть-чуть остужая горячую грудь...  
Порой, притихая под взглядом твоим,  
Завидовать ласточкам береговым,  
И втайне жалеть,  
Что уже никогда  
Не свить, не завить своего нам гнезда.  
Любили мы, нет ли,  
Я знаю одно:  
Что было с тобою – не канет на дно.  
Закрою глаза – лодка – вон, вдалеке –  
Уносит с тобой нас  
По вечной реке.

2009

## ВЕРБА

Обо всем я забыл бы, наверно,  
С неизбежностью сердце мира.  
Ну, зачем ты,  
Наивная верба,  
Расцвела вдруг  
в конце октября?

Веришь ты,  
Будто чудо возможно,  
Будто снова к нам лето пришло?  
Ненадежно оно,  
Ненадежно,  
Кратковременно это тепло!

Лес без листьев  
безжизненно-жалок.  
Пробирает смертельная дрожь.  
Ты, пуховый надев полушалок,  
Всё чего-то по-девичьи ждешь.

Знаю я – не вернется былое,  
Только нету предела любви.  
Постою я здесь рядом с тобою –  
И для нас  
запоют соловьи!

2010

\* \* \*

Припевка материнская  
Из памяти всплыла:  
«Стаканчики граненые  
Упали со стола».

Подтянут бабы-вдовушки,  
Печали не тая:  
«Упали и разбились,  
Разбита жизнь моя!»

Разбита на осколочки –  
Тоска, тоска, тоска.  
Пустые щи бессолье –  
Житье без мужика.

Одной на свете маяться  
До смертного креста.  
Поразлетелись деточки  
Во дальние места.

...Во мне, во мне ты, матушка,  
В душе моей – светла!  
Стаканчики граненые  
Упали со стола.

2010

\* \* \*

«Вино ума не прибавляет», –  
Так говорит мой старший брат.  
А сам в рюмаху наливает,  
Её с размаху поднимает,  
Поскольку брата видеть рад!

Ну что ж, давай, давай, брательник, –  
За то, что жизнь нас вновь свела.  
Она была, как понедельник,  
Она почти прошла, брательник,  
Но слава Богу, что была!

2010



1. Григорий Александрович Гребнев (слева) и его друг Алексей Семёнович Конев, 27 марта 1940 года, город Горький.



2. Выпускной. А. Гребнев в верхнем ряду справа второй. В нижнем ряду, справа второй, директор школы Павел Илларионович Кротов.



3. Семья Гребневых, справа налево:  
бабушка Наталья Николаевна, Анатолий с сестрой  
Ираидой, мать Анна Антоновна, Леонид, племянник  
Юра, 1960 год.



4. Анатолий Гребнев студент 2-го курса,  
май 1961 года.



5. «А церковь и у нас в селе сломали. Но колокольня старая стоит». А. Гребнев с братом Леонидом и двоюродной сестрой Лидией Разумовой, 1962 год, Чистополье.



6. У родительского дома.



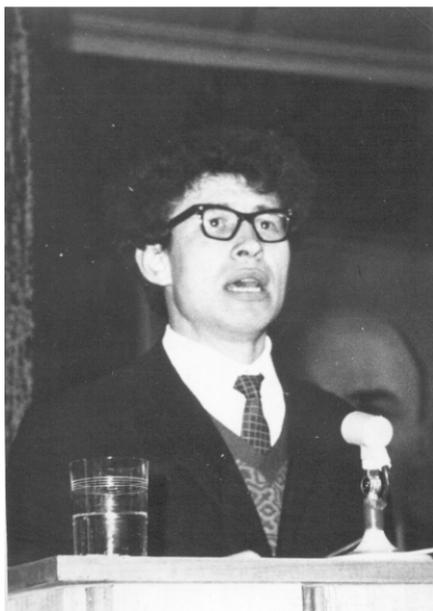
7. Анна Антоновна хозяйничает возле русской печи.



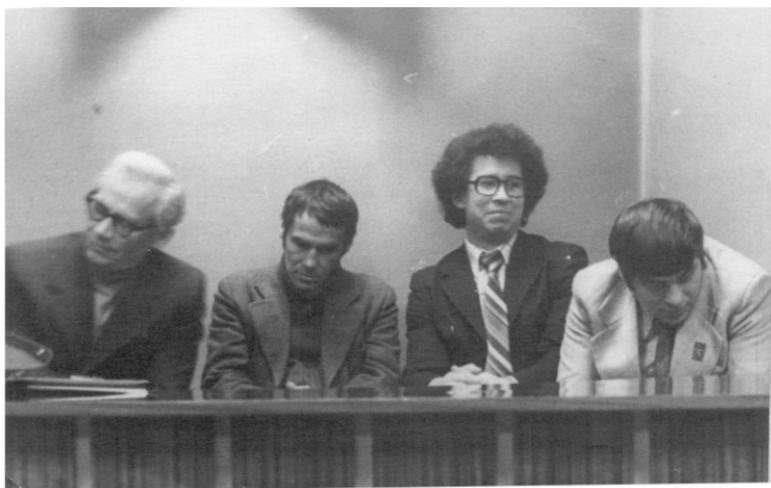
8. А. Гребнев (в центре) на военных сборах,  
Свердловск, 1969 год.



9. На берегу любимой Пижмы. Вот это щу-учка-а...



10. А. Гребнев читает стихи у микрофона, 1971 год.



11. Лев Кузьмин (слева) и «новоиспечённые» члены СП  
– В. Болотов, А. Гребнев, М. Смородинов, 1978 год.



12. «Помню, в детстве упал я в траву...», 1979 год.



13. В первом ряду (слева направо): Иван Байгулов, Римма Голубкова, Виктор Астафьев, Анатолий Гребнев; во втором: Алексей Домнин, Михаил Голубков с дочерью Мариной, 1979 год.



14. Встреча с читателями во время поездки к другу-поэту Михаилу Вишнякову в Читу, 1980 год.



15. А. Гребнев и В. Крупин, 1981 год.



16. А. Гребнев – руководитель литературного объединения при Пермской писательской организации.



17. Один из вариантов портрета А. Гребнева, выполненного художником Михаилом Курушиным.



18. А. Гребнев, В. Крупин, Валерий Голубев (сидит),  
председатель областного Кировского отделения  
Союза журналистов, 1985 год.



19. День 40-летия Победы. А. Гребнев с сыном Гришей и с пионерами возле братской могилы в д. Полунино подо Ржевом, где похоронен отец, 9 мая 1985 года.



20. А. Гребнев, Ст. Золотцев, Л. Кузьмин,  
Н. Домовитов, Пермь, 1988 год.



21. Дни славянской письменности и культуры, Тирасполь, 1991 год. Справа налево: С. Небольсин, Н. Скатов (директор Пушкинского дома), А. Гребнев, Ст. Золотцев.



22. Дни славянской письменности и культуры, Мурманск, 1991 год. Слева: В. Огрызко (Москва), А. Гребнев (Пермь), А. Грязев (Вологда).



23. В. Крупин и А. Гребнев на Днях славянской письменности и культуры в Минске, снимок на память со студентками Литинститута из семинара В. Крупина.



24. А. Гребнев и В. Крупин на колокольне Серафимовской церкви в Вятке, 1993 год.



25. Н. Вагнер, А. Гребнев, 1994 год.



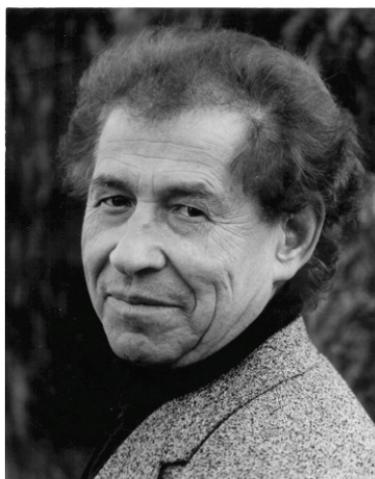
26. А. Гребнев возле своего дома в Байболовке,  
11 августа 2010 года.



27. В. Крупин и А. Гребнев, во время  
Великорецкого Крестного хода 1997 года.



28. В подмосковном селе Никольское-Трубецкое,  
возле бани В. Крупина, 1997 год.



29. Анатолий Гребнев. Портрет работы Владимира Сердитых, 1998 год.



30. Творческий вечер в зале писательской организации Перми. На переднем плане священник-композитор Василий Куликов, поэты А. Гребнев и Ю. Калашников. Май 1998 года.



31. Застолье на лугу в *День деревни Изиповки*, гости съехались из разных городов, 1999 год.



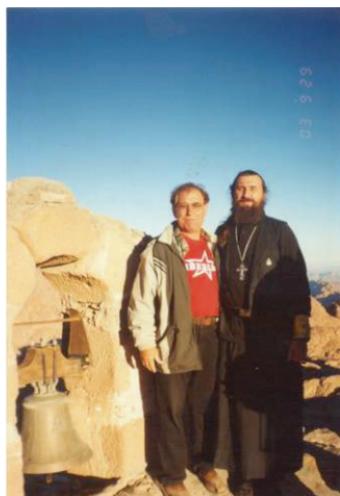
32. А. Гребнев и В. Крупин с землячками в Великорецком Крестном ходе, 2000 год.



33. Заливные луга в пойме р. Пижмы, здесь проходили когда-то многолюдные сенокосы-праздники.



34. Астафьевские чтения в Перми. Поэт А. Гребнев, кинооператор фильма Василия Шукшина «Калина красная» А. Заболоцкий, В. Богомолов, 17 мая 2003 года.



35. Синай. А. Гребнев с иеромонахом Саввой из Иерусалима, 29 сентября 2003 года.



36. А. Гребнев, В. Лихоносов, Надежда и Владимир Крупины, октябрь 2003 года.



37. У дома-музея писателя Виктора Астафьева в Чусовом, 18 мая 2003 года; слева направо: поэт Анатолий Гребнев, критик Валентин Курбатов, Андрей Викторович Астафьев (сын писателя), Виталий Богомолов, прозаик Иван Гурин.



38. В мемориальной зоне «Пермь 36». В. Богомолов, А. Гребнев и Н. Субботина в камере бывшего штрафного изолятора для политических заключённых, 18 мая 2003 года.



39. Поэт В. Архипов (слева, Краснодар), А. Гребнев, В. Крупин, В. Ситников (Киров), А. Лиханов, в дни работы съезда писателей в Орле, май 2004 года.



40. В. Крупин (слева), А. Грязев, С. Небольсин, А. Заболоцкий, А. Гребнев, в дни работы писательского съезда в Орле, май 2004 года.



41. А. Гребнев, В. Крупин, В. Распутин, А. Грязев, в дни писательского съезда в Орле, май 2004 года.



42. А. Гребнев в гостях у В. Распутина, озеро Байкал, ненастный день, 8 октября 2004 года.



43. А. Гребнев, В. Распутин, поэт Нина Карташова,  
иркутский прозаик А. Семёнов на Байкале,  
9 октября 2004 года.



44. В. Распутин, А. Гребнев в Иркутском этнографическом  
музее под открытым небом, 9 октября 2004 года.



45. В. Богомолов, поэт А. Снитко, радиожурналист В. Пархоменко на приёме у губернатора Пермской области О.А. Чиркунова по случаю присвоения поэту А. Гребневу (справа) звания «Заслуженный работник культуры России», 24 ноября 2004 года.



46. А. Гребнев и В. Распутин в купе поезда «Байкал», 2005 год.



47. У вечерней Пижмы в месте слияния с речкой Каменкой, сентябрь 2005 года.



48. Открытие в Березниках памятника поэту Алексею Решетову 3 апреля 2005, слева: А. Снитко, И. Ёжиков, А. Гребнев, В. Богомолв.



49. А. Гребнев у могилы матери.



50. В «гостях» у отца. Братская могила  
(более 12 000 человек) в д. Полунино подо Ржевом.



51. В. Крупин и А. Гребнев в редакции газеты «Кировская правда». Слева главный редактор Николай Мясников.



52. Великорецкий Крестный ход. А. Гребнев и В. Крупин несут икону святителя Николая.



53. Крестный ход на привале. А. Гребнев  
и отец Анатолий.



54. Крестный ход 2000 года. Село Великорецкое.  
В. Крупин, А. Гребнев, Н. Злыгостева.



55. Завершение Крестного хода. Село Великорецкое.



56. Великорецкий Крестный ход 2006 года, снимок на память с группой православных верующих из Эстонии.



57. Река Великая. Очаровательный пейзаж.



58. Удачная поэтическая рыбалка на озере Кривом, старице реки Пижмы.



59. Почётный гражданин Котельничского района А. Гребнев на празднике поэзии «Чистое поле» в компании бывшего колхозного председателя Василия Абрамовича Вылегжанина и его супруги.



60. А. Гребнев на берегу Пижмы у котла с гречневой кашей для всех участников «Дня поэзии» в честь 65-летия поэта, 2006 год.



61. А. Гребнев и В. Крупин с участниками ансамбля «Семёра», слева его руководитель Ситников, село Чистополье, 2006 год.



62. Эх, топни, нога, под гармошку Гребнева!.. На берегу Пижмы танцует руководитель областной культуры Вятки – О.В. Бакина. Деревня Изиповка, 2006 год.



63. Участники Астафьевских чтений в Вологде  
(писатели, журналисты, учёные, работники культуры –  
чусовляне, пермяки, вологжане, красноярцы, москвичи).  
В центре стоит Андрей Викторович Астафьев.  
27 апреля 2007 года.



64. Город Оса Пермского края, В. Крупин и А. Гребнев на  
паперти храма, ноябрь 2008 года.

## Приложения

### **Сочинения А. Гребнева:**

- Приволье. Пермь, 1972*  
*Родословная. Пермь, 1977*  
*Зелёный колокол. Москва, 1978*  
*Круговорот. Пермь, 1980*  
*Задевая за листья и звёзды. Москва, 1984*  
*Берёза. Иволга. Звезда. Пермь, 1985*  
*Черёмуховый холод. Пермь, 1988*  
*Чистополье. Москва, 1988*  
*Возвращение. Пермь, 1991*  
*Храм. Москва, 1991*  
*Колокольчика вятского эхо. Вятка, 1995*  
*Родины свет. Вятка, 2001*  
*Берег родины. Пермь, 2003*  
*Последней войны соловьи. Киров, 2005*  
*Берег родины. Пермь, 2008*

### **Литература:**

*Стенограмма заседания Совета по работе с молодыми литераторами в СП РСФСР 30 апреля 1971 года, г. Москва.*

*Ковалёв Д. Стихи, которым доверяешь: [предисловие]// Гребнев А. Приволье. Пермь, 1972.*

*Ковалёв Д. Анатолий Гребнев// Истоки: альманах. М., 1977.*

*Мерлин В. Семантические традиции трёхстопного амфибрахия в творчестве А. Гребнева// Литература и фольклор Урала: сб. научн. трудов. Пермь, 1979.*

*Гринберг И. Два крыла литературы. М.: Советский писатель, 1982.*

*Золотцев С. Нет в поэзии провинции. М.: Молодая гвардия, 1986.*

Злыгостева Н. «Живое его волшебство»// «Вятский край». 1991. № 158. 14 августа.

Злыгостева Н. Живая вода поэзии Анатолия Гребнева// Литература в школе. 1994. № 5.

Злыгостева Н. «Живое его волшебство»: [предисловие]// Гребнев А. Колокольчика вятского эхо. Вятка, 1995.

Злыгостева Н. «Сердце пронзающий слог...»: [предисловие]// Гребнев А. Берег родины. Пермь, 2003.

Злыгостева Н. Чудотворная музыка строк: [предисловие]// Гребнев А. Последней войны соловьи. Киров, 2005.

Панина Н. «Родимые сердцу пределы»: Урок о творчестве поэта А. Гребнева// Литература в школе. 1994. № 5.

Крупин В. Застойные времена: рассказ// Роман-газета XXI век. 1999. № 6.

Мясников Н. Пора творческой зрелости: К 60-летию А. Гребнева// Кировская правда. 2001. № 42. 20 марта.

Богомолов В. «Вон парнишка бежит босиком...» О творчестве А. Гребнева// Пермские новости. 1996. 13 ноября.

Богомолов В. «Видеть правду, Россию любить...» Рецензия на сборник А. Гребнева «Колокольчика вятского эхо»// Православная Пермь. 1996. Ноябрь. № 6.

Богомолов В. «В смятении душа»: К 60-летию А. Гребнева// Аргументы и факты. 2001. № 13. 28 марта.

Курбатов В. Высокие облака// День и ночь: Альманах. Красноярск, 2002.

Ситников В.А. Переделкинские встречи. Киров, 2003.

Чудинова Г.В. Творчество пермских писателей и поэтов в школьном изучении. Методические рекомендации. Пермь, 2007.

Свидетель века. Хроника Дома Смышляева: 2-е издание/сост. Н.М. Найдёнова. Пермь, 2008.

Беликов. Ю. Слывя в Байболовке поэтом// «Звезда». 2009. 20 марта.

## *Содержание*

<b>КНИГА О ПОЭТЕ. Предисловие В. Крупина .....</b>	<b>5</b>
<b>ЧАСТЬ I. Если пристальной в детство взглядеться .....</b>	<b>7</b>
<b>ЧАСТЬ II. Сижу и плачу я на берегу пустом .....</b>	<b>145</b>
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ критика о творчестве А. Гребнева.....</b>	<b>194</b>
<b>В. КРУПИН. Застойные времена. Рассказ.....</b>	<b>208</b>
<b>А. ГРЕБНЕВ. Стихи, избранное .....</b>	<b>224</b>
<b>Приложения .....</b>	<b>301</b>

Литературоведческо-биографическое издание

**Виталий Анатольевич Богомолов**

## ***Вон парнишка бежит босиком***

Издание осуществлено в авторской редакции

Корректор **Е.А. Богомолова**

Дизайн обложки **Ирины Мингалёвой**

Портрет автора на обороте обложки выполнен

**Владимиром Бикмаевым**

Портрет А.Г. Гребнева на обороте авантитула выполнен

**Владимиром Сердитых**

Богомолов В.А.

Б 74

**Вон парнишка бежит босиком:** Очерк жизни и творчества поэта Анатолия Григорьевича Гребнева с приложением критики, избранных стихов. – Пермь, 2011. – 305 с., ил.

Предпечатная подготовка произведения  
«Вон парнишка бежит босиком...» писателя Виталия  
Анатольевича Богомолова была осуществлена при  
поддержке Министерства культуры, молодёжной  
политики и массовых коммуникаций Пермского края  
в рамках проекта «Пермская библиотека».

Формат 84 x 108 1/32. Бумага ВХИ. Гарнитура Times New Roman.

*Дорогой читатель,*  
*отзывы о книге присылайте автору по адресу:*  
Россия. 614000, Пермь, ул. Сибирская, 30.  
Пермская краевая общественная организация  
Союза писателей России.  
E-mail: [vitbogomolov@yandex.ru](mailto:vitbogomolov@yandex.ru)



**Богомолов**  
**Виталий Анатольевич**

Родился в 1948 году.  
Член Союза писателей России.  
Лауреат премии имени  
Василия Шукшина.  
Автор книг:  
«Старые русские»,  
«Три любви»,  
«Среди душманов»,  
«Молитва из маминого клубочка»,  
«Поездка на исчезнувшую родину»,  
«Душа плачет» и других.  
Живёт в Перми.

